
Этой книге суждено стать
современной классикой.
Пенелопа Лайвли
Лунный Тигр
Одна история
Одна война / Одна любовь
18+
CARTE POSTALE
PARIS

Лунный тигр
Пенелопа Лайвли

Аннотация
Пенелопа Лайвли. Лунный тигр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Аннотация

Клуадия, в прошлом «экстремальная» журналистка, побывавшая не в одной горячей точке, приближаясь к жизненному финалу, пересказывает дочери историю любви своей юности. Встретившись в Египте в разгар Второй мировой войны, Клаудия и ее возлюбленный Том живут одним днем. Испытывая к друг другу истинную любовь, они в то же время не находят себе места от ревности, и постепенно их отношения подходят к опасной грани. Вскоре сама жизнь разлучает эту красивую пару навсегда — Том не вернулся из очередной вылазки на линию фронта. Единственным свидетелем жестоко прерванной страсти становится для Клаудии «лунный тигр» — тлеющая спираль для защиты от тропических насекомых. Клаудия безутешна… Но до конца жизни в своих воспоминаниях она всё та же рыжая бестия, сексуальная и бесстрашная влюбленная женщина.

Пенелопа Лайвли
Лунный тигр

1

— Я напишу историю мира, — говорит она.

И руки сиделки на мгновение останавливаются, она смотрит на эту старую женщину, старую больную женщину.

— Что же, — говорит она, — это дело хорошее. — И снова принимается перебирать постель, разглаживать простыню, подтыкать одеяло. — Приподнимитесь немножко, голубушка, вот молодчина, сейчас принесу чай.

Историю мира. Чтобы уж поставить точку. Что тут такого — хватит выискивать всякие мелочи про Наполеона,[1] Тито,[2] битву при Эджхилле,[3]

---

[1] Примечания: 1

Наполеон Бонапарт (1769–1821), император Франции (1804–1815), французский полководец и государственный деятель, заложивший основы современного французского государства

[2] Примечания: 2

Иосип Броз Тито (1892–1980), лидер Югославии с конца Второй мировой войны до своей смерти, маршал.

[3] Примечания: 3

Битва при Эджхилле состоялась 23 октября 1642 года, первое сражение английской гражданской войны.

Эрнандо Кортеса…[4]

На этот раз будет действие. Непрестанное, смертоносное, триумфальное движение — из грязи к небу, всеобщее, уникальное, мое и ваше. Я готова, я это чувствую, эклектизм всегда был мне свойствен. Так обо мне говорили, правда, называли это по-другому. У Клаудии Хэмптон широкие замашки, можно сказать, безрассудные, — мои враги. Мисс Хэмптон мыслит с размахом — мои друзья.

Историю мира, да, именно так. И, по ходу повествования, свою собственную. Жизнь и время Клаудии Х. Кусочек двадцатого столетия, куда меня впихнули, не спрашивая моего мнения, не интересуясь моим желанием. Я в своем времени — все и ничто. История мира, рассказанная Клаудией: факты и вымысел, миф и реальность, игра воображения и документальные свидетельства.

— Она была кем-то? — интересуется сиделка. Ее туфли повизгивают, когда она идет по сияющему полу; туфли доктора скрипят. — Я хочу сказать, она говорит всякие вещи…

Врач смотрит в свои бумаги и отвечает, да, она была кем-то, очевидно, писала книги и статьи

---

[4] Примечания: 4

Эрнандо (Фернандо) Кортес (1485–1547), испанский конкистадор, завоевавший Мексику и уничтоживший государственность ацтеков.

для газет и еще… гм… провела какое-то время на Ближнем Востоке… тиф, малярия… не замужем (он видит упоминание о выкидыше и одном ребенке, но вслух этого не говорит)… да, судя по тому, что здесь написано, кем-то она была.

Многие скажут, что излагать свою жизнь в контексте мировой истории — заурядная самонадеянность. Пускай. У меня найдутся и последователи. Мои читатели знают историю. Они знают, к чему все идет, и знают как. Я не буду уделять чрезмерного внимания сюжету. Что я намереваюсь сделать, так это оформить его, наполнить жизнью, красками, воплями и риторическими отступлениями. На этом я экономить не буду. Вопрос в другом: должна ли история быть линейной? Мне всегда казалось, что калейдоскоп — чрезвычайно занимательная ересь. Потрясешь трубку и смотришь, что получилось. Хронология меня раздражает. У меня в голове нет хронологии. Я состою из миллиона Клаудий, которые кружатся, перемешиваются и сверкают, словно солнечные блики на воде. Колода карт, которая тасуется снова и снова, безо всякой последовательности, и все случается одновременно. Современные машины, как мне кажется, работают по этому же принципу: в них

заложены все данные, и одним нажатием кнопки извлекается нужное. Теоретически, они более надежны. Некоторые мои кнопки не работают, для других нужны пароли, числа, оброненные случайно фразы. Интересно, что все это зарождается в коллективной истории. Это общественная собственность и вместе с тем — сугубо частная. Мы все смотрим на историю по-разному. Мои викторианцы — это не ваши викторианцы.[5] Мой семнадцатый век не такой, как у вас. Голос Джона Обри,[6] Дарвина[7] или кого хотите разговаривает с вами не с той же интонацией, что со мной. Позывные моего прошлого доходят ко мне из общечеловеческого далека. Жизнь других людей отпечаталась на моей собственной: да, это я, Клаудия Х.

Эгоцентризм? Возможно. Кто из нас не эгоцентрик? Почему это должно восприниматься как

---

[5] Примечания: 5

Викторианская эпоха (1837–1901), период царствования Виктории, королевы Великобритании и Ирландии, императрицы Индии. Время развития капитализма, консервативных ценностей и колониальной экспансии Британии.

[6] Примечания: 6

Джон Обри (1626–1697), английский историк, археолог и антиквар; заложил традиции изучения и описания британских древностей.

[7] Примечания: 7

Чарльз Дарвин (1809–1882), английский натуралист и путешественник, автор теории происхождения видов.

обвинение? Это так — с тех самых пор, как я была ребенком. Меня считали трудным ребенком. Иногда даже невозможным. Я-то вовсе не считала себя невозможной — невозможными были мама и няня, с их запретами и предостережениями, нездоровой страстью к молочным пудингам и кудряшкам и ненавистью ко всему, что было притягательного в мире, — высоким деревьям и глубокой воде, мокрой траве, по которой бежишь босиком, обаянию грязи, огня и снега. Мне всегда хотелось — горячо, страстно — забраться повыше, убежать поскорее и подальше. Они удерживали — я не повиновалась.

Гордон был такой же. Мой брат Гордон. Мы с ним друг друга стоили.

Мои истоки — всеобщий источник. Из грязи к небу — так ведь я сказала? Из первичного океана. Итак, я никогда не была обычным историком, заурядным хроникером общих мест, никогда не была такой, как та иссохшая мумия, что вещала мне в Оксфорде историю папства бог знает сколько лет назад. И поскольку мне свойственна независимость взглядов, а вывести человека из себя *мне* проще, чем вам пообедать, скучать нам не придется. Может быть, стоит рассказать об этом с точки зрения океана. О чем может

рассказать плавающий в первобытном океане прозрачный рачок? Или аммонит? Да, это уже теплее. Аммонит,[8] прозревающий свою судьбу. Вот кто расскажет нам о движении вод в юрский период.[9]

Но здесь кто-то снова встряхнул калейдоскоп. Палеолит[10] и девятнадцатый век, с моей точки зрения, отделяет одно движение кисти. И в девятнадцатом веке это не осталось незамеченным; они-то понимали, что у них под ногами. Чей взгляд не привлекали эти величественные незнакомцы в бакенбардах, одетые слишком изысканно, разгуливавшие по отмелям и склонам холмов и размышлявшие о вечности? Несчастный пленник собственных заблуждений Филипп Госсе,[11] Хью Миллер,[12] и Лайелл,[13] и сам Дар-

---

[8] Примечания: 8

Аммонит, или род аммона, — общее название для вымершего подпорядка головоногих моллюсков, близких к ныне живущему наутилусу (Nautilus).

[9] Примечания: 9

Юрский геологический период. Начался примерно 206 млн лет назад, длился около 64 млн лет. В этот период произошло отложение известняков и сланцев, формирование некоторых горных массивов современной Европы.

[10] Примечания: 10

Палеолит (около 2,6 млн лет назад — 10 тыс. лет до н. э.), первый исторический период каменного века, от начала использования каменных орудий до появления земледелия.

[11] Примечания: 11

Филипп Госсе (1810–1888), английский натуралист и популяризатор естествознания.

[12] Примечания: 12

Хью Миллер (1802–1856), шотландский естествоиспытатель.

[13] Примечания: 13

Чарльз Лайелл (1797–1875), британский ученый, основоположник современной геологии.

вин. Есть какое-то сродство между сюртуками, бакенбардами и скальным эхом: мезозой и триас,[14] оолит и лейас, корнбраш и гринсэнд.[15]

Но нам с Гордоном было по одиннадцать и десять лет соответственно; мы никогда не слыхали о Дарвине, а понятие о времени у нас было очень конкретным (время пить чай, ужинать, недавнее время, зря потраченное время…); и весь наш интерес к Asteroceras и Primocroceras тогда основывался на жажде первенства. В 1920 году, для того чтобы опередить Гордона на пути к заманчивой расселине в напластовании нижней юры, я готова была разнести сто пятьдесят миллионов лет вдребезги своим новехоньким блестящим молоточком, а если придется, сломать руку или ногу, сорвавшись с крутого лба синего лейаса.

Она поднимается еще немного выше, на следующий скользкий плоский уступ, и, сидя на корточках, лихорадочно ищет вокруг себя голубовато-серые вкрапления камня, набрасывается на эти заманчивые завитки и узоры, хватает их с торжествующим шипением: вот он, аммонит,

---

[14] Примечания: 14

Мезозой и триас — геологические эпохи.

[15] Примечания: 15

Оолит, лейас, корнбраш и гринсэнд-названия характерных геологических пород и отложений.

почти целый. Пляж остался далеко внизу, и с ним крики и лай; голоса, пусть и громкие и отчетливые, доносятся будто бы из другого мира и не имеют значения.

И все это время она краешком глаза наблюдает за Гордоном, который взобрался еще выше и вовсю обстукивает обнаженную породу. Вот он перестал стучать, смотрит на что-то… Что он там такое нашел? Дух соперничества и любопытство гонят ее вверх, она продирается через низенькие кустики, переваливается через край уступа…

— Это мое место, — вопит Гордон, — ты сюда не ходи. Это я его забил.

— Да мне какое дело, — кричит Клаудия, — я все равно выше поднимаюсь, там намного лучше.

И она лезет дальше по чахлой траве и сухим камешкам, которые градом сыплются у нее из-под ног, все выше, к заманчивому многообещающему серому участку, где наверняка притаились сотни Asteroceras.

Внизу, на оставшемся без внимания пляже, забегали люди, зазвучали тревожные голоса, похожие на птичьи вскрики.

Чтобы добраться к тому соблазнительному уступу, ей нужно обойти Гордона.

— Ну, — говорит она, — убери свою ногу.

— Не толкайся, — ворчит он, — все равно тебе здесь нельзя. Я же сказал: это мое место, у тебя свое есть.

— Сам не толкайся. Не нужно мне твое дурацкое место.

Его нога мешает пройти, из-под нее катятся камешки, она пытается столкнуть ногу, и слой твердой почвы — оказывается, вовсе не такой уж твердой — движется под ее лихорадочно цепляющейся рукой, осыпается… и она срывается, опрокидывается, ударяется плечами, головой, машет руками и с шумом катится вниз. Ее подхватывает какой-то колючий кустарник, и она, задыхаясь от боли и обиды, не может даже кричать.

Он видит, как она подбирается ближе, проникает в его владения, на его территорию, она заберет все его лучшие образцы. Он сопротивляется. Он вытягивает ногу, чтобы преградить ей путь. Разгоряченная, она пытается перебраться через него.

— Не толкай меня, — кричит она.

— Я и не толкаю, — огрызается он. — Это ты пихаешься. И вообще, это мое место, так что ты ищи себе другое.

— И ничего не твое, — отвечает она, — это об-

щее место. И никуда я…

И вдруг, с глухим шумом, она исчезает, соскальзывает, катится вниз, и он смотрит сверху со страхом и удовлетворением.

— Он меня толкнул.

— Нет, не толкал. Ну честно, мам, я ее не толкал. Она сама сорвалась.

— Он меня толкнул.

Даже несмотря на всеобщую суматоху — причитания нянек, сделанную наспех повязку, нюхательные соли, — Эдит Хэмптон не могла не подивиться яростному спору своих детей.

— Не спорьте. Перестань, Клаудия.

— Это мои аммониты. Пусть он их не берет, мама.

— Да не нужны мне твои аммониты.

— Успокойся, Гордон!

У нее болит голова, она пытается успокоить своих детей, посоветовать, посочувствовать. Она винит окружающий мир, ненадежный, полный опасностей. И вражду своих отпрысков, чья перепалка, как ей кажется, слышна на весь пляж.

У истории много голосов. Звучат голоса всех, кто сумел сделать так, чтобы его услышали. Одни громче, другие тише. В мое повествование вплетаются голоса мамы, Гордона, Джаспера,

Лайзы и еще одного человека, который затмевает их всех. Они тоже должны быть слышны: надо играть по правилам истории. Я должна уважать свидетельства очевидцев. Уважать истину, что бы под ней ни понималось. Но истина скрывается в словах, отпечатках, документах. Мгновения текут сквозь пальцы, дни нашей жизни исчезают бесследно — будь они вымыслом, от них и то осталось бы больше в памяти. Выдумка интереснее реальности. Пьер на поле битвы, девочки Беннет за шитьем, Тэсс на молотилке — эти образы пребудут вовеки, на бумаге и в головах. А то, что случилось со мной на пляже в Чармуте[16] в 1920 году, — всего-навсего пушинка одуванчика. И ведь когда мы с вами говорим об истории, мы имеем в виду не то, что было на самом деле, не так ли? Не всеобъемлющий хаос Вселенной? Мы расставляем все по полочкам, милостивый взгляд историка задерживается на отдельных местах, людях и периодах времени. История всему находит объяснение, тогда как обстоятельства, следуя своим обычным курсом, чаще всего остаются необъяснимыми.

Итак, раз моя история и их истории суть одно

---

[16] Примечания: 16

Чармут — город в британском графстве Сомерсет.

целое, надо дать им высказаться — маме, Гордону, Джасперу… Но последнее слово, разумеется, должно остаться за мной. Привилегия рассказчика.

Вот, например, мама. Мама не хотела иметь ничего общего с историей. Она просто закрыла дверь и оставила историю за дверью. Она предпочла свой собственный мир, в котором не было ничего, кроме роз флорибунда, гобеленов с религиозными сюжетами и переменчивой погоды. Читала она только «Вест Дорсет газетт», «Кантри лайф» и альманах Королевского общества садоводов. Наибольшее беспокойство у нее вызывали капризы погоды. Заморозки были поводом для размышлений. Незадавшееся лето — для кроткого недовольства. Счастливая мама. Разумная, рассудительная мама. На ее туалетном столике стояла фотография отца в военной форме, вечно молодого, с только что подстриженными волосами, еле заметными аккуратными усиками на верхней губе — ни кровавых дыр в животе, ни крика, ни хлещущей через край боли. Мама каждое утро смахивала пылинки с этой фотографии; о чем она при этом думала, я так никогда и не узнала.

История убила отца. Я умираю от рака кишеч-

ника, и можно сказать, что сама по себе. Отец умер на Сомме,[17] сраженный историей. Как я узнала, он лежал в грязи, один, ночь напролет, и кричал. А когда за ним наконец пришли, он умер на носилках, на пути от воронки, ставшей его последней постелью, к перевязочной. И думал он при этом, наверное, о чем угодно, только не об истории.

Вот и выходит, что он для меня — незнакомец. Исторический персонаж. Осталась лишь одна смутная картинка, на которой мужчина с неопределенными чертами лица наклоняется, чтобы поднять меня и посадить себе на плечи, откуда я с чувством превосходства обозреваю весь мир внизу, включая и Гордона, который не удостоился такой чести. Как видите, даже в этом воспоминании на переднем плане Гордон. Но был ли этот мужчина с неопределенными чертами отцом — я не могу сказать; он мог быть дядей или соседом. Судьба отца и моя судьба недолго были связаны одна с другой.

Так что я начну с азбучных истин. Так будет лучше. С истоков, с бремени, к которому мы все прикованы, словно к огромному камню. Как тот

[17] Примечания: 17

Река во Франции, где с июня по ноябрь 1916 года продолжалась наступательная операция англо-французской армии.

несчастный, как же его звали, прикованным к скале…

— Прикованный к скале, — говорит она, — как же его звали? И доктор наклоняется к ней, поблескивая серебряным фонариком и золотистыми буквами на белом халате, из которых складывается его имя.

— Простите, мисс Хэмтон, что вы сказали?

— Орел, — сказала она уверенно, — выклевывал ему печень. Людская доля, понимаете?

Доктор снисходительно улыбается.

— Вот как, — говорит он.

И, осторожно разводя ей веки, вглядывается в зрачки. Или, быть может, в самую ее душу.

Ну конечно же его звали Прометей. Мифология куда лучше истории. У нее есть форма, логика, смысл. Я однажды представила, что я сама — эльф. Меня зазвали в гостиную, мне было лет шесть, и надо было поприветствовать родственницу, которая была богаче мамы и более словоохотлива, и мама относилась к ней с большим почтением. Меня буквально сгребли в охапку, держали за руки, и эта прекрасная благоухающая женщина восклицала: «Вы только посмотрите! Маленький эльф! Чудный рыжеволосый зеленоглазый эльф!» Наверху, в детской, я внимательно рассмотрела в

зеркале свои волосы и глаза. Я эльф. Я чудная. «Ну хватит, Клаудия, — говорит няня, — красив тот, кто душой красив». Но я — эльф, и разглядываю себя с удовлетворением.

Клаудия. Необычная для мамы изобретательность. Я как нарыв на пальце для всех этих Вайолет, Мод, Нор и Беатрис. Но мои волосы и необузданный нрав отличали бы меня от них в любом случае. На пляже в Чармуте няни других семейств начинали волноваться, стоило нам появиться в их поле зрения, и они пасли свой выводок подле себя. Мы с Гордоном были гадкими детьми. Увы, какой позор для миссис Хэмптон, такой милой женщины, и притом вдовы… Они следили за нами безо всякого удовольствия: слишком опасные, неряшливые, непослушные дети, затевающие слишком шумные игры.

Давно это было. А словно вчера. Я до сих пор храню обломок синего лейаса, в котором видны два завитка — следы беспозвоночных ископаемых; он лежит у меня на столе вместо пресс-папье. Два Asteroceras, дрейфовавших в неподвластном времени океане.

Может, я не буду излагать свои рассуждения по поводу палеолита, а сниму фильм. Причем это будет немой фильм: сначала погруженные в

сон скалы кембрийского периода,[18] потом горы Уэльса — Лонг Минд и Рикин; затем ордовик;[19] потом девонский период, красный песчаник и крупнозернистый песчаник; яркие, как заря, Котсвольды[20] и белые холмы Дувра…[21] Фильм — импрессионистское полотно, фильм — медитация, где смятые, как гармошка, горы растут и расцветают — и превращаются в собор в Солсбери,[22] Иорк Минстер[23] и Ройал Кресент,[24] тюрьмы, школы, дома и железнодорожные станции. Да, этот фильм расцветает перед моими глазами, немой и странный, на отдельных кадрах холмы Корнуолла,[25] Стоунхендж,[26] церковь в Берфорде[27] и Пеннины.[28]

В моей истории зазвучит множество голосов. Холодное бесстрастное повествование не для

---

[18] Примечания: 18

Кембрийский период — геологический период, с которого начинается палеозой (примерно 570–505 млн лет назад).

[19] Примечания: 19

Ордовик — второй снизу геологический период палеозоя.

[20] Примечания: 20

Холмы в британском графстве Глостер.

[21] Примечания: 21

Город и порт в британском графстве Кент.

[22] Примечания: 22

Кафедральный собор XIII века, знаменитый памятник английской готики.

[23] Примечания: 23

Кафедральный собор, главная достопримечательность Йорка, строился в течение нескольких веков (в основном с XIII по XV в.).

[24] Примечания: 24

Площадь Ройял Кресент в городе Бат, знаменитый комплекс домов, построенных полумесяцем, архитектор Дж. Вуд-младший, вторая половина XVIII века.

[25] Примечания: 25

Корнуолл — графство на самом западе Англии.

[26] Примечания: 26

Всемирно известное каменное мегалитическое сооружение на Солсберийской равнине в графстве Уилтшир, Англия. Приблизительно датируется третьим тысячелетием до н. э.

[27] Примечания: 27

Город в графстве Оксфордшир.

[28] Примечания: 28

Пеннинские горы — невысокие горы в Англии и Уэльсе.

меня. Возможно, мне стоило бы писать так, как это делали составители «Англосаксонской хроники»,[29] которые одним и тем же будничным тоном сообщают о кончине архиепископа, церковном соборе и огнедышащих драконах в небе. В конце концов, почему бы нет? Все верования сродни друг другу. Наша связь с реальностью никогда не бывает прочной. Я понятия не имею, каким чудом появляется изображение на экране моего телевизора и как на микросхеме умещаются, по-видимому неисчерпаемые объемы информации. Я просто принимаю это как должное. И при этом я по натуре скептик — человек спрашивающий, сомневающийся, инстинктивный агностик. В застывшем камне европейских кафедральных соборов уживаются апостолы, Иисус с Марией, ягнята, рыбы, грифоны, драконы, морские змеи и люди, у которых вместо волос — листья. Я одобряю подобную восприимчивость.

Дети бесконечно доверчивы. Моя Лайза была скучным ребенком, но, несмотря на это, высказывала иногда мысли, которые радовали и изумляли меня. «А драконы бывают?» — спросила она. Я ответила, что нет. «А когда-нибудь были?»

---

[29] Примечания: 29

Древнейшая летопись Англии, охватывающая период с римского завоевания до 1154 года. Составление началось в IX веке.

Я сказала, что все факты свидетельствуют об обратном. «Но если есть слово "дракон", значит, когда-то же они должны были быть».

Вот именно. Всевластное слово. Прибежище эфемерного, способ придать ясность мечте, постоянство — лучикам света.

Драконы были на том китайском блюде в оксфордском музее Ашмолеан, перед которым мы с Джаспером однажды стояли месяцев за восемь до того, как родилась Лайза. Как мне описать Джаспера? Есть несколько способов, и ни один не дает полного представления. В категориях моей жизни он был моим любовником и отцом моего единственного ребенка. В категориях его жизни — умным и удачливым антрепренером. В категориях культурно-социальных он — помесь русского аристократа и английского джентри. К тому же он был привлекательным, располагающим к себе, сильным, энергичным и эгоистичным. За Джаспера я должна благодарить Тито: я познакомилась с ним в 1946-м когда работала над книгой о партизанах и беседовала со всеми, кто имел отношение к югославским событиям. Мы поужинали с ним во вторник, а в следующую субботу лежали вместе в постели. В последующие десять лет мы иногда жили вместе,

иногда нет, ссорились, мирились, расходились и воссоединялись. Лайза, бедная моя Лайза, тихая маленькая девочка стала живым свидетельством нашего неспокойного союза, и притом неубедительным: ни внешностью, ни повадками она никогда не была похожа ни на одного из нас.

Не то ее отец: он был чудесной иллюстрацией к своей родословной. Приятную внешность и широту натуры он унаследовал от русского отца, а непоколебимую самоуверенность и чувство превосходства — от матери. Изабель, наследница доброго куска Девона[30] и нескольких веков довольства и процветания, приехав в девятнадцать лет в Париж, потеряла голову. Презрев родительское сопротивление, она вышла за неотразимого Сашу. Когда родился Джаспер, ей был двадцать один год. К тому времени, как ей стукнуло двадцать два, Саше надоело быть девонским сквайром, Изабель одумалась и признала роковую ошибку, был организован пристойный развод. Саша, которому тесть дал денег, чтобы тот убрался со сцены и отказался от всех прав на Джаспера, кроме права оставить ему наследство, мирно удалился на виллу на мысе Ферра; Иза-

---

[30] Примечания: 30
Девон, или Девоншир, — графство в Юго-Западной Англии.

бель, выдержав приличествующую паузу, вышла замуж за друга детства и стала леди Бранском из Сотлей-Холла. Джаспер провел детство в Итоне и Девоне, от случая к случаю наезжая на мыс Ферра. Когда ему исполнилось шестнадцать, наезды участились. Образ жизни отца показался Джасперу приятной и возбуждающей альтернативой охотничьим балам и стрельбам; он научился говорить по-французски и по-русски, любить женщин и обращать обстоятельства в свою пользу. Его мать в Девоншире горестно вздыхала и корила себя; отчим, человек стоически терпеливый, которому вскоре предстояло погибнуть на побережье Нормандии, пытался заинтересовать юношу делами поместья, лесным хозяйством и разведением жеребцов — все безуспешно. Джаспер был не только наполовину русский, но еще и умница. Его матери еще не раз пришлось признавать свои ошибки. Джаспер поехал в Кембридж, интересовался понемножку всем, кроме спорта, стал первым по двум предметам и завел множество полезных знакомств. После этого он занимался то политикой, то журналистикой, во время войны успешно побыл самым молодым членом команды Черчилля и затем предстал миру амбициозным, обросшим нужными связями оппортунистом.

Таков, в общих чертах, Джаспер. Мое представление о нем фрагментарно: существует множество Джасперов, и логической связи между ними не прослеживается. Точно так же, как есть много Гордонов и много Клаудий.

Клаудия и Джаспер стоят перед китайским блюдом с нарисованным драконом в музее Ашмолеан. Джаспер смотрит на Клаудию, а Клаудия — на дракона, словно что-то зацепило ее взгляд. В действительности там два дракона, два синих дракона с оскаленными зубами, один напротив другого. Их змеевидные тела удивительно равномерно распределены по периметру блюда. У них есть что-то вроде оленьих рогов, красивые синие гривы, пучки волос на суставах лап и гребешок по всему хребту. На редкость точная аллегория. Клаудия не сводит глаз с витрины, с блюд, на которые накладываются призрачные отражения лиц: ее и Джаспера

— Ну так как? — спрашивает Джаспер.

— Что — как?

— Едешь ты со мной в Париж или нет?

На Джаспере пальто из коричневого сукна и шелковый шарф вместо галстука. В руках неожиданный портфельчик.

— Может быть, — говорит она, — посмотрим.

— Так не пойдет, — говорит Джаспер.

Клаудия не сводит глаз с драконов, думая о чем-то совсем другом. Драконы — только фон, но он подойдет.

— Ну ладно, — снова говорит Джаспер, — я надеюсь все же, ты поедешь. Я позвоню из Лондона. Завтра. — Он смотрит на часы. — Мне пора идти.

— Вот только… — говорит Клаудия.

— Что?

— Я жду ребенка.

Молчание. Джаспер кладет свою руку на ее, потом убирает.

— Понятно, — говорит он наконец. — И что ты… собираешься делать?

— Буду рожать, — говорит Клаудия.

— Ну конечно. Если ты этого хочешь. Я бы тоже предпочел поступить так. — Он обворожительно улыбается. — Я только… должен сказать, дорогая, что не думаю, что ты создана для материнства. Но я полагаю, ты и в этом случае продемонстрируешь присущее тебе умение приноравливаться к обстоятельствам.

Она смотрит на него — в первый раз за время разговора. Улыбается.

— Я рожу этого ребенка, — говорит она, — отчасти из-за того, что я на это не гожусь, а отчасти

потому, что я этого хочу. Одно с другим никак не связано. И я, безусловно, не жду, что мы с тобой поженимся.

— Нет, — отвечает Джаспер, — я и не думал об этом. Но я хотел бы участвовать.

— Я и не сомневалась, — говорит она, — ты, разумеется, поведешь себя как настоящий джентльмен. Много денег уходит на детей?

Джаспер смотрит на Клаудию, которая сегодня с утра то и дело неожиданно меняется, как это может только она одна. Она не сводит глаз со стеклянной витрины, по-видимому поглощенная созерцанием китайского фарфора. Ей идет этот изумрудно-зеленый костюм из твида… а на указательном пальце — синее пятнышко: утром она что-то писала.

— Не хочешь приехать ко мне в Париж в следующие выходные?

— Может быть, — говорит она.

Ему хочется встряхнуть ее. Или ударить. Но если он это сделает, она, скорее всего, ударит его в ответ, а здесь много людей, и их с Клаудией могут узнать. Поэтому он кладет ладонь ей на руку и говорит, что ему нужно успеть на поезд

— Кстати, — говорит она, не сводя глаз со стеклянной витрины, — я жду ребенка.

Его охватывает изумление. Ему уже не хочется ее ударить. Положись на Клаудию, думает он, с нею не соскучишься.

Большую часть детства Лайза провела то с одной бабушкой, то с другой. Лондонская квартира — не место для ребенка, и я часто путешествовала. У леди Бранском и моей мамы было много общего, в том числе и органическая неспособность понять переживания своих отпрысков. Они храбро приняли незаконнорожденного ребенка, повздыхали по телефону и принялись делать для Лайзы то, что было в их силах, понимая под этим прежде всего поиск шведки гувернантки и достойного пансиона.

Джаспер никогда не был главным человеком в моей жизни. Он был важен, но это не одно и то же. Он был центральным звеном, но не более того. В жизни многих людей бывает нечто главное, ядро, средоточие жизни. Я расскажу о своем, когда буду готова. Сейчас я пытаюсь разобраться с периферией.

Один из моих любимых викторианцев — инженер Уильям Смит,[31] будучи строителем каналов,

[31] Примечания: 31

Уильям Смит (1769–1839), английский инженер, один из основоположников биостратиграфии, составил первую геологическую карту Англии.

смог изучить пробуравленную им горную породу и ее ископаемые вкрапления, и пришел к продуктивным выводам. Уильям Смит заслужил почетное место в моей истории. Так же как Джон Обри. Мало кто понимает, что Обри, этот болтун и сплетник, походя рассудающий о Гоббсе, Мильтоне и Шекспире, был первым компетентным археологом-практиком. Более того, его сжато сформулированное, но проницательное наблюдение за стилем церковных окон, меняющимся последовательно с течением времени и позволяющим судить о хронологии зданий, делает его Уильямом Смитом семнадцатого века. Перпендикулярные окна и окна с переплетом, где число стекол кратно десяти, — аммониты архитектуры. Я так и вижу Обри, как он шагает по шелестящей траве церковного двора в Дорсете, под мышкой у него бумаги с записями, и он уже предчувствует появление Шлимана,[32] Гордона Чайлда[33] и экзамены на получение отличия в Кембридже, — и точно так же вижу Уильяма Смита в цилиндре,

[32] Примечания: 32

Генрих Шлиман (1822–1890), немецкий археолог, прославившийся находками в Малой Азии, на месте античной Трои.

[33] Примечания: 33

Гордон Чайлд (1892–1957), английский историк, один из ведущих археологов XX века.

присевшего на корточки и сосредоточенно рассматривающего срез почвы Уорикшира.

У меня есть снимок — такие продаются в Музее Виктории и Альберта[34],— на котором запечатлена сельская улочка в Фетфорде. Фотография была сделана в 1868 году, Уильяма Смита на ней нет. Улица пуста. Видны бакалейная лавка, кузница, неподвижно стоящая телега, огромное дерево с раскидистой кроной — и ни одного человека. На самом же деле Уильям Смит — или кто-то другой, или несколько человек, собак, гусей — прошли под этим деревом, зашли в лавку, задержались там ненадолго, пока делалась эта фотография, — и остались невидимы. Время съемки было тогда так велико — целых шестьдесят минут, — что за то время, которое Уильям Смит и иже с ним пробыли перед объективом, от них не осталось никаких следов. Даже тех пустых трубок, какие оставили первичные черви, пройдя насквозь кембрийскую глину в Северной Шотландии.

Мне очень, очень нравится этот снимок. Точная парафраза отношения человека к окружающему миру. Прошел — и нет его. Предположим, Уильям Смит — или любой другой, кто проходил по улице в то утро, — передвинул бы телегу из точки А в точку В. Что бы мы увидели тогда? Расплывчатое

пятно? Две телеги? А если бы он решил спилить дерево? Мы очень хорошо умеем расправляться с внешним миром — и когда-нибудь, возможно, преуспеем в этом радикально. Finis. И тогда истории действительно придет конец.

Уильяма Смита вдохновили напластования. С напластованиями моей жизни разобраться сложнее, они даже в голове моей не разделяются, а представляют собой круговерть образов и слов. Драконы, лунные тигры, крестоносцы и миляги…[35]

То китайское блюдо до сих пор в музее Ашмолеан. Я видела его в прошлом месяце.

Мне было тридцать восемь, когда родилась Лайза, и дела мои шли прекрасно. Две книги, нашумевшие публикации, репутация придирчивой, привлекающей к себе внимание провокаторши. у меня, в некотором роде, было имя. Если бы тогда был в ходу феминизм, думаю, без меня бы не обошлось. Но в реальности я никогда не тосковала по нему, то, что я женщина, казалось мне ценным преимуществом. Мой пол никогда не был для меня обузой, И сейчас я думаю, что это,

---

[35] Примечания: 35

М3 «Стюарт», американский легкий танк времен Второй мировой войны; прозвище «миляга» получил за надежность двигателя и танка в целом

возможно, спасло мне жизнь. Будь я мужчиной, я бы, пожалуй, погибла на войне.

Я хорошо понимаю, почему я стала историком. Лжеисториком, как назвал меня один из моих врагов, иссохший оксфордский гранд, боящийся высунуть нос за дверь родного колледжа. Тучи сгустились, когда я была ребенком: «Не спорь Клаудия», «Клаудия, ты не должна так со мной разговаривать». Конфликт — вот с чего начинается история. Спор, мое слово против твоего, мое свидетельство против твоего. Если бы существовала такая вещь, как истина, полемика бы утратила свои блеск. Меня, по крайней мере, она бы перестала интересовать. Я очень хорошо помню день, когда поняла, что мнение не имеет отношения к истории.

Мне было тринадцать. Я училась в школе для девочек мисс Лавенхэм. Это было в четвертом классе, мы проходили династию Тюдоров,[36] учительствовала сама мисс Лавенхэм. Она написала на доске имена и даты, и мы переписали их в тетради. Затем мы под ее диктовку записали основные характеристики царствующих персон. Генрих VIII был заклеймен за свои брачные

[36] Примечания: 36

Представители династии Тюдоров правили Британией с 1485 по 1603 год

излишества, да и как правитель он не блистал. Королева Елизавета была молодцом: она отбила атаки испанцев и правила твердой рукой. Помимо этого, она отрубила голову Марии, королеве Шотландской, католичке.[37] Был долгий летний день, наши перья скрипели по бумаге. Я подняла руку: «Скажите, мисс Лавенхэм, а католики одобрили то, что она отрубила Марии голову?» — «Нет, Клаудия, не думаю, чтобы они это одобрили». — «Скажите, а сейчас они поменяли свое мнение?» Мисс Лавенхэм вздохнула. «Клаудия, — мягко сказала она, — некоторые, возможно, и не поменяли. Люди не со всем бывают согласны. Но тебе не нужно об этом беспокоиться. Просто запиши то, что написано на доске. Чтобы заголовок был виден, его лучше записать красными чернилами…»

И вдруг серенький, как школьная форма, пруд истории задрожал, по нему заходили тысячи волн, я услышала бормотание голосов. Я положила перо и задумалась, я так и не выделила заголовки красными чернилами и в конце семестра получила на экзамене 38 % (очень слабо).

---

[37] Примечания: 37

Мария I Тюдор (1516–1558), королева Англии с 1553 года, старшая сестра будущей королевы Елизаветы. Также известна как Мария Кровавая и Мария Католичка

2

«От ярости норманнов, Боже, даруй нам избавление…» Чувствуете холодок между лопатками, вы, читающие это лежа на диване, когда горит свет и дверь заперта и двадцатый век уютно подоткнул вам одеяло? И конечно, Он ничего им не давал — или давал не всегда. Он не давал, но они об этом не знали. Он даровал только слова; бедный монах, который их записал, возможно, упал с перерезанной викингами глоткой или сгорел заживо вместе со своей церковью.

Когда мне было девять лет, я просила Господа уничтожить моего брата Гордона. Безболезненно, но наверняка. Это было на Линдисфарне,[38] куда нас привезли не для того, чтобы мы забивали голову набегами викингов, о которых мама, возможно, никогда не слышала, а чтобы гулять по дамбе и затем устроить пикник. Мы с Гордоном перебегали эту полоску земли. Гордон был на год старше и бегал быстрее, ничего удивительного, что он все время побеждал. И тогда я выдохнула

[38] Примечания: 38

Остров Линдисфарн, к северо-востоку от Великобритании. На острове находится одноименный замок (построен в середине XVI века).

эту молитву, с яростью и страстью, искренне — о да, искренне желая ее исполнения. Никогда больше я не попрошу Тебя ни о чем. Ни о чем вообще. Только сделай это. Сейчас. Немедленно. Любопытно, что я просила Бога уничтожить Гордона, а не сделать меня лучшим бегуном. И конечно, Бог не сделал ничего подобного, и весь этот восхитительный, пропахший морем день я проходила надувшись, и стала агностиком.

Много лет спустя мы вернулись туда — Гордон и я. На этот раз мы не бегали. Мы чинно гуляли, обсуждали, помнится, Третий рейх и предстоящую войну. И я вспомнила ту молитву монахов Линдисфарна и сказала, что похоже, будто викинги вернулись, алые паруса на горизонте, мужчины, обвешанные оружием, шагают тяжело. Кричали чайки, и дерн на холмах пружинил под ногами и пестрел цветами — вне всякого сомнения, так же, как в девятом веке. Мы ели сандвичи и пили имбирное пиво среди развалин, а потом лежали на солнышке в лощине. Еще не было Джаспера и Лайзы. Сильвии. Лазло. Египта. Индии. Напластования еще не сформированы.

Мы говорили о том, что собираемся делать во время войны и после — если будет какое-нибудь *после.* Гордон хотел изловчиться и попасть в раз-

ведку (в те дни все ловчили, пускали в ход связи). Я знала, чего хочу. Я собиралась стать военным корреспондентом. Гордон смеялся. Он сказал, что невысоко оценивает мои шансы. Попробуй, сказал он, удачи тебе, конечно, но честно говоря… Тут я припустила от него. Вот увидишь, сказала я. Вот увидишь. И ему пришлось догонять меня и искать примирения. Мы по-прежнему были соперниками. Помимо всего прочего. Вместе со всем прочим. Тогда и позже.

Доктор останавливается и смотрит сквозь стеклянное окошечко: «С кем это она говорит? У нее что, гости?» Сиделка качает головой, несколько мгновений они смотрят на пациентку, губы которой двигаются, а выражение лица… решительное.

Все, кажется, в порядке, и они уходят по коридору, поскрипывая подошвами.

Они с Гордоном были противниками не только на продуваемом морскими ветрами берегу Линдисфарна, но и в ядовито-розовой, пропахшей алкоголем атмосфере кафе «Горгулья» образца 1946 года. Ее лихорадит, она упивается собственным триумфом. Гордон хмурится.

— Он мерзкий тип, — говорит он.

— Заткнись.

— Он нас не слышит. Он и здесь занят карьерой.

Джаспер стоит возле соседнего столика, в паре ярдов от нас, и разговаривает с сидящими. Его загорелое лицо, снизу подсвеченное стоящими на столе свечами, красивое и выразительное. Он жестикулирует, стараясь как можно ясней выразить свою мысль, раздается смех.

— Ты всегда выбирала каких-то темных типов, — гнет свою линию Гордон.

— Да неужели? — спрашивает Клаудия. — Какое интересное наблюдение.

Они смотрят друг на друга.

— Да прекратите вы оба, — вмешивается Сильвия. — Мы же праздновать пришли.

— Вот именно, — говорит Гордон, — вот именно. Давай, Клаудия, празднуй.

Он опрокидывает бутылку в ее стакан.

— С ума сойти, — говорит Сильвия, — друзья в Оксфорде! До сих пор не верится.

Она не сводит глаз с Гордона, а тот не смотрит на нее. Она выщипнула нитку из рукава его пиджака, дотронулась до его руки, вынула пачку сигарет, уронила их, подняла с пола.

Клаудия по-прежнему смотрит на Гордона. Уголком глаза она то и дело поглядывает на

Джаспера. Другие посетители тоже смотрят на Джаспера: он из тех, кого люди замечают. Она подняла стакан:

— Еще раз поздравляю. Напомнишь мне, когда у вас будет обед для почетных гостей. Я приду.

— Не выйдет, — отвечает Гордон, — там только мужчины.

— Какое безобразие, — говорит Клаудия.

— Где ты его откопала?

— Кого?

— Ты прекрасно знаешь, о ком я.

— А… ты о Джаспере. Ну… где же это было? Я пришла к нему брать интервью для книги.

— Ах да, — радостно спрашивает Сильвия, — как твоя книга?

На нее не обращают внимания. Джаспер возвращается к столу. Садится, кладет свою руку на руку Клаудии.

— Я попросил принести бутылочку шампанского. Так что допивайте.

Сильвия пытается достать сигарету, роняет пачку, наклоняется за ней и чувствует, как разваливается сделанная в дорогой парикмахерской прическа. И платье неудачное: слишком розовое, нарядное, девчоночье. Клаудия в черном, с очень глубоким вырезом и бирюзовым ремнем.

— Как твоя книга? — спрашивает Сильвия.

Клаудия не отвечает, и Сильвии приходится заполнить паузу: зажечь сигарету, сделать затяжку и оглядеть зал — как если бы она и не ожидала ответа.

Так было всегда. Всегда, когда с ними была Клаудия. Электрические разряды в воздухе — вне зависимости от того, спорили они или нет (видит бог, сама она никогда так не спорила со своим братом), будто никого другого не существовало. Кажется, будто ты только мешаешь и лучше бы тебе уйти. И Гордон до сих пор к ней не притронулся.

Возвращается Джаспер, и она с облегчением спрашивает:

— Где вы так чудесно загорели?

— Скитался на юге Франции? — переспрашивает Гордон. — Я думал, вы, ребята, всегда заняты.

Я таких, как ты, знаю, думает он. Рейтузы и нюх на выгодные делишки.

Приносят шампанское. Хлопок. Вино бежит в бокалы. Джаспер поднимает свой:

— За вас, Гордон. На юг Франции я заезжал проведать отца.

— Вас, наверное, скоро пошлют в какое-нибудь красивое место? — спрашивает Сильвия.

Джаспер разводит руками и делает унылое лицо:

— Откуда мне знать, моя дорогая, министерство вполне способно отрядить меня и в Аддис-Абебу.

Гордон в два глотка выпивает шампанское:

— Что, карьера дипломата предполагает не только штиль, но и шторм? Или к вам это не относится? Кстати, как вас в вашем возрасте взяли работать в министерство? — Он смотрит на руку Джаспера, накрывшую ладонь Клаудии.

— Гордон, — шепчет Сильвия, — зачем грубить?

— Это вовсе не грубость, — улыбается Джаспер. — Вы очень проницательны. Это называется «проскочил с черного хода». Два словечка от нужных людей пришлись как раз вовремя.

— Не сомневаюсь, — говорит Гордон. Руки слегка сжали одна другую. — И это уже окончательный выбор? Я так понимаю, вы сменили не один род занятий.

Джаспер пожимает плечами:

— Я верю в гибкость восприятия, а вы? Жизнь слишком интересна, чтобы зацикливаться только на одном ее аспекте.

Гордон пытается и не может придумать достаточно язвительного замечания: шампанское

оказывает свое действие. Под столом ерзает колено Сильвии. Он сам не понимает, почему ему так не нравится этот мужчина. У Клаудии и раньше были мужчины, и немало. И все они ему не нравились. Джаспер вроде бы из другого теста. Гордон наливает себе еще шампанского, пьет и в упор смотрит на Джаспера:

— Очень ловко с вашей стороны иметь отца, который живет на юге Франции.

Клаудия смеется:

— Ну и надрался ты, Гордон.

Напластования лиц. Мое сейчас — отталкивающая карикатура на то, каким оно было когда-то. Остались только твердая линия рта, красивые глаза и намек на чистый бледный цвет лица, который прежде выгодно оттенял мои волосы. Но в целом оно съежилось, скукожилось, оплыло, как вещь из дорогой кожи, которая побывала в прачечной. Глаза почти совсем исчезли под набрякшими веками, кожа покрылась паутиной морщин, возле рта — складки, волосы такие редкие, что просвечивает розовая кожа.

Лицо Гордона всегда было жутковатым отражением моего собственного. Считалось, что мы с ним не похожи, но я видела себя в нем, а его — во мне. Взгляд, изгиб рта, тень. Гены дают

о себе знать. Это странное ощущение. У меня было так и с Лайзой, которая совсем на меня не похожа (и на отца тоже, бедняжка, — словно младенец, подброшенный эльфами, и сама, как эльф, бледная и бесплотная). Но когда я смотрю на нее, я то и дело замечаю в ее лице искры себя самой. У Гордона были густые светлые волосы, а вовсе не рыжие, глаза серые, а не зеленые, в восемнадцать лет он был шести футов ростом и казался непринужденным парнем, который идет по жизнь вразвалочку, заложив руки в карманы, да посвистывает. Не парень, а золото. Из тех, что одерживают победы и дружат со всем миром.

Красивая пара, говорили маме. Она тихо отвечала что-то неодобрительное. Не дело восхищаться собственными детьми. Да и потом, у мамы были свои соображения.

К тому времени, как мы оба поступили в университет, мама уже полностью отгородилась от истории. Южный Дорсет[39] окутал ее, словно шаль, и, насколько могла, современность она к себе не подпускала. В войну это, конечно, было нелегко. Однако в такое время полагается быть стойким, а уж это мама всегда умела. Ее не рас-

---

[39] Примечания: 39
Графство на юго-западе Англии.

страивали отсутствие бензина, маскировочные шторы, ванна с двумя дюймами горячей воды. То, что исчезли садовники и кухарки, тоже можно было пережить. От чего она уставала, так это от любого необузданного проявления чувств, любого переживания, более яркого, чем поход в церковь или забота о розах. У нее не было никаких убеждений, она никого не любила, а только была привязана к нескольким людям, в числе которых были, я полагаю, мы с Гордоном. Она купила шотландского терьера, который был обучен валиться на спину при словах «Умри за Родину!» — по всей видимости, маму это не раздражало.

Конечно же история в основном и состоит из таких людей, как мама, которые попросту не замечают ее. Редкие единицы выходят на передовую истории — среди них есть и такие, кто оказывается там вопреки своему желанию, и такие, кто жаждет этой сопричастности. Мы с Гордоном, каждый на свой лад, были на передовой. Джаспер — несомненно.

Сильвия, если бы только могла, ни за что не стала бы выходить из укрытия, да она и не выходила, за исключением тех случаев, когда Гордон, с которым она связала свою судьбу, увлекал ее наружу, в неведомые просторы, без которых она

преспокойно прожила бы всю жизнь.

На прошлой неделе — или это было вчера? — Сильвия приходила меня навестить. Я притворилась, будто меня нет.

— Вот ведь как, — говорила сиделка, — выходит, сегодня не тот день. Никогда ведь не угадаешь… — она наклонилась к подушке: — Пришла ваша невестка, голубушка, может, вы с ней поздороваетесь? Ну проснитесь на минуточку. — Она с сожалением качает головой. — Может, вы тогда с ней просто посидите? Миссис Хэмптон это бы наверняка понравилось. Я принесу вам чаю.

И Сильвия с опаской следует ее совету. Она смотрит на высокую кровать с хитросплетением проводов и трубок и возлежащей на ней фигурой. Глаза закрыты, лицо худое, с похожим на клюв носом. Словно барельеф с надгробия на сельском кладбище. Рядом с постелью, в вазе, цветы, и еще на подоконнике. Сильвия с трудом поднимается (сиденье низкое, а она, увы, уже не такая стройная, как хотелось бы) и подходит, чтобы взглянуть на открытку рядом с кроватью. Беспокойно оглядывается через плечо: «Клаудия? Это я, Сильвия». Но женщина на кровати неподвижна. Сильвия нюхает цветы, поднимает открытку. «С наилучшими пожеланиями…» Она

не может расшифровать росчерк и надевает очки. С кровати доносится шорох. Сильвия роняет открытку и спешно возвращается на свой стул. Глаза Клаудии по-прежнему закрыты, но слышен звук — несомненно, это выходят газы. Красная как рак Сильвия хватается за сумочку и ищет гребень, носовой платок…

«Скажите, пожалуйста, мисс Лавенхэм, — спрашивала я, когда мне было четырнадцать, воплощенное коварство и невинность, — почему так важно изучать историю?» Мы только что перешли к Индийскому восстанию[40] и «Черной дыре» Калькутты[41] и пребываем в надлежащем смятении. Я знаю, что мисс Лавенхэм вопросы не по душе, разве только если хочешь уточнить дату или написание имен — и этот тоже, как я догадываюсь, хоть и не вполне понимаю почему, граничит с кощунством Мисс Лавенхэм молчит и смотрит на меня без удовольствия. Но на удивление ловко справляется с задачей.

---

[40] Примечания: 40

Восстание сипаев в Индии (1857–1859) против британского колониального господства.

[41] Примечания: 41

Каземат в английской крепости Форт-Уильям, рассчитанный на 20 человек. В 1756 году крепость была захвачена людьми наместника Бенгалии Сираджа уд-Даула, полторы сотни англичан провели ночь в каземате без воды и почти без воздуха. В живых осталось 23 человека.

«Потому что благодаря этому вы сможете понять, почему Англия стала великой страной». Браво, мисс Лавенхэм. Не сомневаюсь, что вы никогда не слышали об интерпретации вигов,[42] а если бы и слышали, мало что поняли, но что-то общее у вас с ними, безусловно, есть.

Учителя все, как один, меня не любили. «Есть опасения, — написал один из них в школьном табеле, — что острый ум Клаудии может стать помехой, если она не научится умерять свое любопытство и направлять свои способности в определенное русло». Ну, разумеется, где острый ум, там и неприятности. Родительские сердца сжимаются при первых же его проявлениях. Для меня было несказанным облегчением убедиться, что Лайза особенными талантами не блещет. Ее жизнь сложилась куда более спокойно. Ни у меня, ни у ее отца такого спокойствия не было; другой вопрос, желали ли мы его.

Жизнь Гордона тоже периодически бывала неспокойна, но то же можно сказать и о Сильвии, которая, кажется, опровергает мою теорию о мере ума и довольства. Сильвия глупа как пробка.

Гордон познакомился с ней после войны. Она

---

[42] Примечания: 42

В XVII веке оппозиция британской монархии, предшественники Либеральной партии.

была чьей-то сестрой (точно так же, как сейчас она чья-то жена). Он встретил ее на танцах, нашел, что она хорошенькая (такой она и была), охмурил, привез домой, стал с ней спать и, когда пробил час, объявил о помолвке.

Я спросила: «Почему»? Он пожал плечами: «Почему бы и нет?» — «Но почему эта, скажи ты мне на милость?» — «Я ее люблю», — ответил он. Я расхохоталась.

С нею почти не было проблем. Она посвятила себя детям и дому. Милая девочка, такая, как были раньше, проницательно заметила мама после их третьей встречи, не введенная в заблуждение розовыми ногтями, развевающимися новомодными юбками и облаком туалетной воды «Мицуко». Состоялась презентабельная свадьба, которой мама осталась вполне довольна, — с белыми лилиями, стайкой подружек невесты и шатром на лужайке перед домом родителей Сильвии в Фарнхэме. Я наотрез отказалась играть замужнюю подругу невесты, а Гордон основательно набрался, приветствуя гостей. Медовый месяц они провели в Испании, а потом Сильвия поселилась, как она думала, чтобы жить долго и счастливо, в северном Оксфорде.

С ее точки зрения, было большой неудачей,

что Гордону по роду занятий нужно было выходить на передовую истории. Экономисты всегда в гуще событий. Сильвии больше подошел бы специалист по классическим языкам, завязший в Древнем Риме и Греции. Гордона же интересовало не только настоящее, но и будущее, поскольку оно интересовало политиков. Политикам были нужны такие, как Гордон, — чтобы подтверждать худшие их опасения, чтобы подкреплять их уверенность. Гордон все чаще и чаще уезжал из северного Оксфорда на все более долгий срок: его «призывали» то в Африку, то в Новую Зеландию, то в Вашингтон. Сильвия перестала говорить, как это прекрасно, что Гордон всем нужен, и принялась выспрашивать, не плохо ли это для детей, что они так часто переезжают и меняют школу. Она пыталась оставаться в северном Оксфорде, но там постоянно думала о том, что происходит без нее, и о том, что сейчас, возможно, делает Гордон. Она слишком много ела и располнела. Она продолжала притворяться, что все идет как надо, и это было лучшее, что она могла сделать: она оказалась мудрее, чем я предполагала.

Судя по всему, не мне одной их брак казался курьезом. По Гордону, превратившемуся из молодца и заводилы в успешного мужчину, умного,

респектабельного и привлекательного, вздыхали женщины от Сингапура до Стэнфорда. А некогда по-детски хорошенькая Сильвия уже превратилась в пухлую перезрелую матрону и поддерживать разговор могла только о погоде, ценах да школьных порядках. Я замечала, что люди считают Сильвию чем-то вроде неуклюжей шлюпки, идущей в кильватере красавицы-яхты, видела, как она, когда у них бывают гости, садится в дальнем конце стола, а в глазах амбициозных друзей Гордона мелькает скука. Но я, и только я, знала, что глубоко в природе Гордона таится леность. Нет, он не избегал работы… он мог загнать себя до потери сознания, если приходилось заставить работать ум. Его леность была другой, более деликатной, это было свойством души, а Сильвия — его наглядным проявлением. Она была нужна Гордону так же, как иным людям необходимо бывает по нескольку часов в день глазеть в окно или крутить пальцами. При всей колоссальной энергии разума, эмоциональная энергия Гордона была близка к нулю. Умные, острые на язык женщины, с которыми его время от времени видели, никогда не смогли бы стать его постоянными спутницами. Сильвия была в большей безопасности, чем, возможно, сама

осознавала.

Давным-давно, когда нам было по тринадцать и четырнадцать лет и мы были соперниками во всем, мы боролись за то, чтобы заслужить внимание молодого человека, которого мама однажды летом наняла нам в репетиторы. Предполагалось, что он будет учить Гордона греческому и латыни. Он сам был еще студент, лет девятнадцати-двадцати, коренастый, смуглый парень по имени Малкольм. За то бесконечно долгое дорсетское лето кожа у него приобрела цвет кофейных зерен. Поначалу мы воспротивились такому вмешательству в наше праздное времяпрепровождение. В классную комнату нас приходилось загонять насильно, за ее пределами мы учителя игнорировали. А потом произошло нечто интересное. Я вошла в комнату, когда Гордон был там один с Малкольмом. Они разбирали Вергилия, и я заметила две вещи: что Гордон получает удовольствие от этой деятельности и что между ними установилось согласие. Заглядывая в тетрадь, Малкольм положил Гордону руку на плечо. Я посмотрела на эту тонкую смуглую руку, а потом на лицо Малкольма с густыми темными бровями и карими глазами. Он внимательно слушал, что говорил Гордон, и меня захлестнула

горячая ревность. Это мне он должен был положить руку на плечо, на меня этот взрослый и, как оказалось, привлекательный мужчина должен был смотреть.

Я пошла и нашла маму, которая возилась со своими розами, и сказала ей, что хочу изучать латынь.

Можно сказать, что легкостью, с которой я спустя несколько лет поступила в университет, я обязана первому пробуждению сексуальности. Весь остаток того лета я трудилась над «Латынью для начинающих» Кеннеди. Я продиралась от номинативов и аккузативов к сослагательному наклонению и придаточным условиям, к Цезарю и Галлии. Ничто не могло меня остановить. Я касалась теплого крепкого бедра Малкольма, подходя к нему с учебником грамматики за разъяснениями; я касалась его руки, когда он проверял мои упражнения; я прихорашивалась, вертелась на виду и подлизывалась. Гордон в бешенстве одним духом проглотил «Энеиду» и взялся за «Илиаду». Мы подталкивали друг друга к еще более энергичным усилиям. Бедняга Малкольм: он хотел всего лишь немного заработать и провести не слишком напряженное лето, а вместо этого оказался по уши втянут в безудержные

подростковые страсти. Меня подстегивали нарождающаяся сексуальность и желание обойти Гордона; Гордона — та же жажда соперничества и ярость от того, что интерес Малкольма к нему потускнел. Малкольм, как и любой скромный юноша, воспитанный в закрытой частной школе, вероятно, имел легкую наклонность к гомосексуализму. Возможно, он даже испытывал вполне пристойно проявлявшееся влечение к Гордону, пока я не наложила на него свои половозрелые лапки: игриво терлась об него набухшими грудками, строила ему глазки. К концу лета несчастный молодой человек был так же взвинчен, как и мы.

Мама, чье спокойствие ничто не могло поколебать, подала заявку на участие в секциях роз флорибунда и гибридного чая в выставке Королевского садоводческого общества и выиграла поощрительный приз.

Разумеется, в тринадцать лет я еще понятия не имела о том, что такое секс. Бедная моя мама откладывала ужасное объяснение так далеко, как только могла. Я знала только, что это что-то очень таинственное, иначе к чему бы понадобилась такая скрытность. Были у меня и кое-какие подозрения: не зря же я столько лет изучала анатомию Гордона, когда мне только выпадала такая

возможность. И чувства, которые пробуждало во мне крепкое золотистое тело Малкольма и его запах, еще разжигали мое любопытство.

Лето прошло. Малкольм уехал. Я вернулась обратно к мисс Лавенхэм, а Гордон — в Винчестер, где старший учитель, деликатно осведомленный мамой о том, что у мальчика нет отца, отвел ему в расписании один вечер для разговоров по душам.

Всю первую неделю рождественских каникул он наслаждался собой, своим превосходством. В конце концов — а он с самого начала знал, что так будет, — он не смог больше сдерживаться, и плотина прорвалась в тот момент, когда он был по горло сыт ее нестерпимой похвальбой.

— Зато я знаю, как получаются дети.

— И я знаю, — отзывается Клаудия почти сразу же, с ничтожной предательской запинкой.

— Ничего ты не знаешь.

— Я все знаю.

— Ну и как тогда?

— Так я тебе и скажу, — говорит она.

— Это потому, что ты не знаешь.

Он так самодовольно развалился на диване, что она с радостью взгрела бы его. Да и вообще, все она знает — она почти уверена в этом.

— Я знаю, — говорит она с вызовом, — он вставляет свою штучку женщине в пупок.

Она держит про себя, что размеры ее собственного пупка кажутся ей неподходящими для такого занятия, но она надеется, что, когда станет старше, он расширится.

Он прямо заходится в хохоте, так что не может говорить. Потом наклоняется к ней.

— Я так и думал, что ты ничего не знаешь. Послушай-ка. Он вставляет свой пенис — между прочим, это называется пенис, — вот сюда… — И он тычет пальцем в ее платье между ног.

И ярость ее отчего-то сразу стихает, ее место занимает другое такое же сильное чувство, смущающее ее. Возникает что-то новое, что она не может определить и назвать. И она с любопытством смотрит на своего брата, одетого в серый спортивный костюм.

3

Все в сборе, действие ускоряется. Мама, Гордон, Сильвия. Джаспер, Лайза. Маме в скором времени предстоит покинуть этот мир; она сошла с дистанции благопристойно и почти безмятежно после болезни в 1962 году. Прочие, как и те, кого я еще не назвала, будут появляться и уходить. И каждый раз кто-то будет доминировать. В жизни, как и в истории, из-за всех углов выглядывает, подстерегает неожиданное. Только ретроспектива помогает понять причину и следствие.

Сейчас меня все еще заботит устройство сцены, декорации. Меня всегда интересовали завязки. Мы все рассматриваем наше детство под микроскопом: интересно узнать, кто делит с нами вину за настоящее. Я без ума от первопроходцев, с невинных открытий которых начинаются гигантские скачки истории. Я люблю наблюдать за этими невеждами, все время занятыми такими прозаическими вещами, как голод, жажда, приливы и отливы, правильный курс корабля, склоки, промокшие ноги, — всем чем угодно, кроме судьбы. Эти забавные фигуры с гобелена

из Байе[43] в своей истинном среде были вовсе не забавны; это были жесткие и жестокие, умелые мужчины, успешно превозмогавшие паруса и снасти, и разгоряченных лошадей, и брань злобного начальства. Цезарь, созерцавший берег Сассекса. Марко Поло, Васко да Гама, капитан Кук… все путешественники мира сего, подгоняемые то жаждой наживы, то врожденной неугомонностью, рассчитывали азимут и знакомились с аборигенами — и между делом снискали себе бессмертие.

И самым удивительным из таких явлений стало скрипучее, неповоротливое судно, названное в честь английской живой изгороди, груженное горшками и сковородками, гарпунами, мушкетами, маслом, едой и упрямыми, честолюбивыми, бесшабашно храбрыми идеалистами, сунувшимися в гостеприимные объятия полуострова Кейп-Код.[44] Вряд ли вы тогда понимали, чему кладете начало, Уильям Брэдфорд, Эдвард Уинслоу, Уильям Брустер, Майлс Стэндиш, Стивен

[43] Примечания: 43

Город в Нормандии (Франция), где хранится знаменитый ковер эпохи раннего Средневековья, на котором вышиты основные сцены завоевания Англии норманнами.

[44] Примечания: 44

Место высадки в 1620 году англичан-пилигримов, основавших Плимутскую колонию.

Хопкинс, жена его, Элизабет, и вы, все остальные. Вы не могли провидеть рабство и гражданскую войну, золотую лихорадку, битву при Аламо, трансцендентализм, Голливуд, «Форд» модели «Т», Сакко и Ванцетти, Джо Маккарти, Вьетнам, Рональда Рейгана, в конце концов. Вас заботили божья милость, климат, индейцы и вечно недовольные биржевые дельцы в Лондоне. Но мне все равно нравится представлять, как вы ищете место для жилья, рубите деревья, строите пристанище, растите овощи, молитесь. Умираете и женитесь. Бродите по пустоши, подмечая, где растут щавель, тысячелистник, печеночный мох, водяной кресс и чудесный крепкий лен и конопля. Вряд ли у вас хорошо было развито воображение, и это к лучшему. В двадцатые годы семнадцатого века в Массачусетсе было не до полета воображения — это удовольствие для таких, как я, когда мы думаем о таких, как вы.

Вы — прошлое, вы — общественная собственность. Но также и частная: мои взгляд на вас — мой собственный, ваше значение для меня — мое личное. Мне нравится смотреть на волнистую тончайшую линию, которая бежит от вас ко мне, ведет от ваших лачуг в Плимутском поселении ко мне, Клаудии, предлагая удобства

«Пан-Американ», «Транс-Уорлд Эйрвейз» и «Бритиш Эйрвейз», чтобы я могла навестить своего брата в Гарварде. Ну вот опять, скажете вы. Эгоцентричная Клаудия возводит историю к своему ничтожному существованию. Но разве это не свойственно всем нам? Да и, в любом случае, все, что я делаю, — это встраиваю себя в историю, цепляюсь за фалды, осматриваюсь в пространстве. Топоры и мушкеты Плимута образца 1620 года отбрасывают тусклый отблеск и на тот промежуток времени, в котором выпало жить мне; в каком-то смысле, они определили мою жизнь.

Мне нравится выбирать обрывки идей, которые объединяют мое сознание с вашим: несколько здравых суждений о верховенстве закона, распределении собственности, пристойном поведении и любви к ближнему. Но этих идей очень мало, по большей же части приходится всматриваться в непроглядный туман, где то, что мне представляется нетерпимостью, священно, как заповедь, где можно зарезать индейца и насадить его голову на жердь в частоколе форта, где люди терпят лишения, от которых я бы умерла через неделю, и при этом верят в колдовство и прямо-таки не сомневаются в том, что есть жизнь после смерти.

В каком-то смысле, конечно, они были правы,

хоть и не понимали этого. Я и есть жизнь после смерти. Я, Клаудия. Я, когда оглядываюсь назад, изучаю и оцениваю. Не то чтобы вам было до меня дело — кому нужна нечестивая, злая на язык старуха, настолько погрязшая во внебрачных связях и богохульствах, что кровь стынет в жилах? Нет, вы бы меня не одобрили; я бы подтвердила ваши худшие опасения относительно того, куда катится этот мир.

Но вы заслуживаете — и заслуженно получите — достойное вас место в моей истории мира. Я буду бродить меж вами, снисходительно обращая внимание на ваш упорядоченный быт, ваше чувство справедливости, ваше трудолюбие. Вашу храбрость. Индейцы, как вы сами же писали, «наслаждались самыми кровавыми пытками, какие могли придумать: сдирали кожу с живых людей заточенными раковинами, отрезали суставы и куски плоти, поджаривали их на угольях и заставляли умирающих есть куски собственного мяса на их глазах до тех пор, пока те не отдавали богу душу». А вы все же пускались в плавание. И в конце концов это индейцы, бедолаги, ели грязь у ваших ног. Да и ушей с носом вы вполне могли лишиться и в родном графстве, если учесть, какие тогда были нравы. Храбрость в том грубом

мире, возможно, оценивалась по-иному, нежели сейчас. Так или иначе, вы заслужили уважение.

Ваш мир трудно воспринимать как былую реальность. Скорее это некий угрюмый Эдем, где меж дубов, сосен, орешника и буков воют дикие звери. Не говоря уже о ядовитом сумахе, с которым мне выпало познакомиться на пикнике в Коннектикуте. Природа побеждает; где вам было думать о ее охране — намного важнее вопрос, согласится ли она сохранить вам жизнь. Многие из вас пали жертвой ее промысла: голода и болезней. Те же, кто пережил ту ужасную первую зиму, сделали все, что могли, чтобы потягаться с природой. Вы валили тысячелетние деревья, удобряли поля сельдью, удивительным образом пристраивая ее в маленькие холмики земли, так что головы торчали вверх, словно в корнуоллском рыбном пироге. Вы несли смерть вампанаугам и наррангасеттам[45] так же, как выдрам и бобрам. Вы нарушили покой литорин и венусов — смирных морских тварей, превращенных вами в деньги, — отполированных, просверленных, собранных в вампумы, за которые вы торговали у индейцев ценные меха. Ценность вампума зависела от сто-

[45] Примечания: 45
Индейские племена, обитавшие на Кейп-Код.

имости бобровой шкурки на лондонском рынке; причудливое переплетение законов экономики привело к тому, что шляпа, надеваемая под пасмурным небом Мидлсекса, стала мерилом жизни или смерти для моллюсков, копошащихся на отмелях полуострова Кейп-Код.

На борту «Мэйфлауэр» был спаниель. Однажды неподалеку от селения за этой собачонкой погнались волки, и она припала к ногам своего хозяина спасения ради. Умная собачка, она знала, что с мушкетами волчьим зубам не тягаться. Чем примечательна эта история, так это одним своим существованием: такая малозначительная информация дошла до нас сквозь века. Именно такие несущественные подробности убеждают нас в реальности истории.

Я знаю о маленьком спаниеле. Я знаю, какая погода была в Массачусетсе седьмого марта 1620 года, в среду (холодно, но ясно, ветер с востока). Я знаю имена тех, кто умер в ту зиму и кто остался жив. Я знаю, что вы ели и пили, как обставляли свои жилища, кто из вас был человеком высоких моральных устоев и большого трудолюбия, а кто — нет. Но при всем этом я ничего о вас не знаю, ибо не могу скинуть свою шкуру и примерить вашу, не могу освободить свой разум от знаний и

предрассудков, не могу взглянуть на мир глазами ребенка: я такой же узник своего мира, как вы — вашего.

Что ж, с этим ничего нельзя поделать. Но я все равно ощущаю трепет, представляя вас, невинных, привольно гуляющих в этом Эдеме (ну, насколько мог быть невинен европеец семнадцатого века). Однако развить эту аналогию мне не удается. Я просто получаю удовольствие, сравнивая вас с тем, чему вы положили начало, — с неправдоподобно густонаселенным континентом, где перемешалось все самое прекрасное и самое отвратительное.

Я люблю Америку. Гордон любит Америку. Сильвия не любит Америку. Бедная Сильвия. Вечно она там трепыхается и суетится, слово вынутая из панциря черепаха. Она не привыкла ни к языку, ни к традициям, ни к манере поведения. Бывают люди с повадками хамелеонов (я, например, и Гордон, и — на сто процентов — Джаспер). А бывают такие, что не менялись с юности. Способность Сильвии к адаптации иссякла, когда ей было что-то около шестнадцати; с тех пор она стремилась к милому времяпрепровождению, детям, милому домику и милым друзьям. Она получила все, чего хотела, и надеялась жить долго и

счастливо. Она не приняла в расчет внешние факторы. Карьера Гордона была в расцвете. Каждые полгода уже немолодая Сильвия вынуждена была менять одно побережье Атлантики на другое, пока он исполнял свои обязанности в Гарварде.

Сильвия может чувствовать себя в безопасности только на заднем сиденье. Она дает это понять, взявшись за дверцу и объявив: «Я поеду взади, Клаудия» — американизм, проскользнувший в ее речи, немедленно исправлен: называть на американский манер водопроводный кран, многоквартирный дом или пешеходную дорожку она худо-бедно научилась, но старается не преступать определенных границ. Только изредка, когда она слегка пьяна — а сейчас она пьяна, — она словно теряет контроль над речью, слетающей с языка, — и получается ужасающая помесь, на которой в обычных обстоятельствах не говорит ни она сама, ни американцы. Она перестает ориентироваться в пространстве — и знает это. Язык и ноги существуют отдельно от нее. Ей никак не удается уяснить себе здешние порядки: все перемешано, здесь жмут руки, когда надо обняться, и обнимаются, когда хватило бы пожатия руки, говорят слишком много или слишком мало; она запуталась в местных ста-

тусах, связях и подтексте. В то время как Гордон перемещается из Оксфорда в Гарвард, не меняя ни речи, ни костюма, ни манеры поведения, — и всюду чувствует себя как дома, всюду ему рады и выказывают равное уважение.

Клаудия не говорит в ответ: «Нет, Сильвия, сзади поеду я». Она просто садится впереди с Гордоном, пока Сильвия, отдуваясь, втискивается на заднее сиденье малолитражки, думая про себя, почему это в Штатах совсем не осталось больших, красивых и разлапистых машин.

Она безропотно устраивается на сиденье, готовая к продолжительной поездке. «Ты можешь не ехать, это не обязательно», — говорит Гордон, но, конечно, это ее долг, даже несмотря на этот ужасный палящий летний массачусетский полдень: табло у обочины, автобана показывает 98° по Фаренгейту,[46] платье липнет к ногам, между лопаток стекает пот. Если б она не поехала, то просидела бы весь день в прохладном доме, чувствуя себя покинутой, ненужной, представляя себе, как они смеются и наслаждаются жизнью без нее, удаляются от нее, забывают о ней. И она чувствует себя обязанной напомнить о своем

[46] Примечания: 46
Чуть больше 36° Цельсия.

существовании, неловко тянется к Гордону и спрашивает, почему бы им не закрыть окно и не включить кондиционер, пытается расслышать, что говорит Клаудия.

«Закрыть? — переспрашивает Клаудия. — Да ладно, нам нужен свежий воздух!»

И вот в машину с ревом врывается горячий свежий воздух, мимо пролетает зеленый Массачусетс. Сильвия сдается и откидывается на сиденье. Про себя она отмечает, что волосы у Клаудии теперь трехцветные — серые с белым и лоскутками прежнего, темно-рыжего. Они коротко подстрижены и небрежно сколоты гребнем, но, неизвестно как, все равно смотрятся очень элегантно (как всегда). Волосы самой Сильвии каждый месяц тщательно подкрашивают и укладывают профессионалы, но они по-прежнему бесцветные, и их немилосердно треплет разыгравшийся ветер. Она роется в сумке в поисках платка. На Клаудии джинсы, подходящая к джинсам курточка и французская маечка на бретельках. У Сильвии в голове не укладывается, как она, в ее возрасте, может себе такое позволить, притом что смотрится этот наряд (как всегда) не вызывающе, а просто эффектно.

— Все нормально? — бросает через плечо Гор-

дон.

— Очень сильный ветер.

Гордон поднимает свое стекло на целый фут, а Клаудия свое — на пару дюймов.

Сильвии приходят мысли о еде. По крайней мере, на пути у них чудный ресторан с кондиционером, и она закажет… хм, она, конечно, не станет совсем забывать о диете и воздержится от мороженого и сандвичей, но в огромной порции салата с тунцом и гарниром она себе не откажет. С чем в Америке все в порядке — так это с едой. Единственная компенсация за десять лет такой вот сумасшедшей жизни: одной ногой в Оксфорде, другой — в Кембридже, штат Массачусетс. Вечные сборы, переезды, упаковывание, распаковывание… Как здорово! — говорят люди, и Сильвия отважно соглашается. Она старается думать о двух своих прекрасных домах и множестве интересных, известных людей по обе стороны Атлантики, с которыми она знакома, — вот только почему-то не очень близко. Для разговоров по душам они не годятся, только приходят на ужины и коктейли и приглашают к себе на ужины и коктейли — всегда сначала здороваются с Гордоном и только потом замечают ее, Сильвию. Ей говорили, что Гордон — один

из самых высокооплачиваемых специалистов в академической среде; суммы, которые они расходуют на хозяйство, по-прежнему вгоняют ее в ступор, она уже не может придумать, на что еще потратить деньги. Гордон, конечно, постоянно в отлучке: такова цена популярности. Иногда по ночам, когда не может заснуть, она думает, бывают ли у него еще — время от времени — другие женщины. Возможно. Вероятно. Но если даже и так, она не хочет ничего об этом знать. Сейчас он уже не бросит ее ради них, потому что это было бы неудобно и мешало бы его работе. И она уже давно, в незапамятные времена, поняла, что суета — пустая трата времени. Надо выждать. Все пройдет.

«Сколько еще?» — спрашивает она жалобно. Клаудия, взглянув на карту, отвечает, что ехать еще около получаса. Она говорит это не оборачиваясь, чуточку нетерпеливо. Они спорят с Гордоном (как всегда), а потом спор вдруг прекращается, и они взрываются хохотом «Чему вы смеетесь?» — восклицает Сильвия. «Я тебе потом расскажу», — отвечает Гордон, все еще смеясь.

Наконец-то они приехали. Паркуют машину. Сильвия осматривается: «Не вижу никаких избушек. И людей в маскарадных костюмах тоже».

Она не понимает, зачем Клаудии было тащить их сюда — в место, где люди переодеваются и притворяются, что живут в прошлые века. Звучит несерьезно и совсем не похоже на Клаудию. И на Гордона. Клаудия и Гордон уже идут через посыпанную щебнем автостоянку к чему-то с вывеской «Координационный центр». Сильвия с благодарностью ныряет в кондиционированную прохладу и заходит дамскую комнату. Приведя в порядок волосы и лицо, она смотрит на листовку, которую ей вручили. Поселение Плимут, читает она, воссоздано в соответствии с обликом деревни пилигримов 1627 года. Вам предстоит перенестись из вашего времени в колонию семнадцатого века. Люди, с которыми вы встретитесь, своим платьем, речью, манерами и поведением копируют известных колонистов. Они всегда готовы вступить в разговор. Не стесняйтесь задавать им вопросы и помните, что ответы, которые вы получите, отражают взгляды и мнения людей семнадцатого века.

Сильвию разбирает смех. Ей уже немного лучше, она припудрилась и ожила. Она присоединяется к остальным. «Здесь, похоже, все немножко чокнутые», — говорит она.

«Еще полчаса», — говорит Клаудия. Сильвия

всю поездку только и делает, что просит закрыть или, наоборот, открыта окна, вмешивается в разговор и спрашивает, сколько еще ехать. Словно ребенок, ну, право, думает Клаудия, все равно как если бы на заднем сиденье была Лайза или один из шалопаев Гордона. Но Сильвию легче игнорировать — так все обычно и делают. Они с Гордоном не виделись несколько месяцев. Клаудия не обращает внимания на Сильвию и продолжает разговор с Гордоном. Они спорят — весело и страстно — о политике в Малави, где Гордон недавно побывал. Министрам таких местечек Гордон дает советы, как им лучше управлять своей экономикой. «Чушь, Клаудия, — говорит он, — ты сама не понимаешь, о чем говоришь. Ты же никогда не была в этой дыре». «С каких это пор, — парирует Клаудия, — авторитетное мнение должно основываться на собственном опыте?» И они оба смеются. Сзади блеет Сильвия.

Добрались. В прохладном затемненном зале они смотрят слайды, читают сжатые, упрощенные, но внятные комментарии об освоении Восточного побережья. Неплохо, думает Клаудия. Совсем не плохо.

Они выбираются на солнцепек, в 1627 год. Входят в огороженное частоколом поселение,

осматривают маленький форт. Проходят по длинной покатой деревенской улочке с бревенчатыми хижинами по обеим сторонам. В пыли копошатся цыплята и гуси. Человек в кожаной безрукавке и шляпе с большими полями чинит изгородь в окружении одетых в майки, сверкающих локтями и коленями туристов. Женщина в чепце гоняет птицу метлой; ее фотографируют.

Клаудия заходит в первую хижину. В очаге булькает котелок, примитивная мебель, с потолочных балок свисают сушеные травы, над покрытой рогожей кроватью — полог. Посетители глазеют на молодого человека в бриджах и белой рубашке. Он приплыл на «Мэйфлауэр»? — интересуется Клаудия. Нет, отвечает он, на «Анн», несколько лет спустя. Почему? — не отстает Клаудия. Молодой человек объясняет, что его религиозные убеждения сделали дальнейшее пребывание в Англии невозможным. Клаудия интересуется, надеется ли он в Новом Свете разбогатеть. Юноша отвечает, что многие колонисты надеются на награду за все те испытания, что выпали на их долю. Держитесь, советует ему Клаудия, в конце концов, это себя оправдывает. Молодой человек, недоуменно на нее поглядывая, отвечает, что они уповают на Господа. Его помощь вам понадо-

бится, говорит Клаудия, и он прострет над вами свою десницу, уж будьте уверены. Спроси-ка его, эта засушенная трава — майоран? — просит Сильвия. Что-то я его раньше здесь не находила. Спроси сама, отвечает Клаудия, он говорит по-английски. Ну, я не могу, говорит Сильвия, это все так глупо. Молодой человек чинит рыболовные снасти и не обращает на нее ни малейшего внимания. Ну что ж, говорит Клаудия, удачи вам в войне с индейцами. Они с Сильвией выходят из этого домика и заходят в следующий, где Гордон разговаривает с дюжим детиной, который изъясняется с ирландским акцентом. Ирландец объясняет, что направлялся в Вирджинию, а здесь застрял случайно. Когда пробьет час, он отправится на юг, где, как он слышал, хорошо растет табак. Гордон глубокомысленно кивает. Вы, вероятно, найдете там немало интересного, говорит он. Послушайтесь моего совета, добавляет Клаудия, не берите на плантацию рабов — впоследствии избежите многих неприятностей. Ты вмешиваешься в историю, говорит ей Гордон. Возможно, не вся история такова, какой мы ее знаем, отвечает Клаудия. А как же доктрина «Яв-

ного предначертания»?[47] — не уступает Гордон. Клаудия пожимает плечами: я всегда думала, что это опасная штука. Что-что, мэм? — переспрашивает ирландец. Предначертания, объясняет Клаудия. По-моему, им уделяют слишком много внимания. Вот вы, обращается она к ирландцу, вряд ли вы задумываетесь о том, что вам предначертано. Ну… — говорит ирландец. Вот именно, и я тоже нет. Это значительно позже люди начали уделять неоправданно много внимания судьбе. Ох, жалуется Сильвия, я на ногах не стою. Вы, ребята, говорит Клаудия ирландцу, живете во времена становления. Если смотреть на это с точки зрения идеологии. Вам может казаться, что к вам это прямого отношения не имеет, но я вас уверяю, последствия будут очень заметными. Кое-кому приходит даже в голову, что все время с тех пор мы спускаемся под гору. При этих словах ирландец начинает поглядывать на нее с тревогой. Другие посетители переминаются с ноги на ногу. Да ладно тебе, говорит Гордон, с тех пор было еще и Просвещение. И посмотри, к чему это привело, отвечает Клаудия. К «прогрессу во всех человеческих начинаниях», замечает Гордон.

[47] Примечания: 47

Теория мессианской роли США в мире; впервые сформулирована Джоном О'Салливаном в 1845 году.

Еще одна теория, набившая оскомину, парирует Клаудия. Здесь ужасно жарко, бормочет Сильвия. Во всяком случае, обращается Клаудия к ирландцу, это мысль: возделывайте свои плантации — и увидите, что из этого выйдет. Да, мэм, немного устало говорит ирландец. И, оживившись, поворачивается к женщине, которая хочет знать, как ему удается разжигать огонь без спичек.

Они выходят из хижины. Сильвия достает из сумочки бумажный платок и вытирает лицо. Клаудия приближается к мужчине, который под деревом чинит плетеную загородку, и спрашивает, как его имя. Уинслоу, отвечает он, Эдвард Уинслоу. Я знаю одного из ваших потомков, говорит Клаудия. Перестань хвастать громкими знакомствами, вставляет Гордон. Молодой человек вежливо наклоняет голову. Они очень богаты, продолжает Клаудия. Лицо молодого человека выражает неодобрение. Богатство интересует его не больше, чем нас с тобой, замечает Гордон. Напротив, возражает Клаудия, очень даже интересует. Выражение «apre's moi le deluge»[48] порочное и относительно недавнее… ты всегда был лишен чувства истории. А ты, отвечает

[48] Примечания: 48
«После нас хоть потоп» (фр.).

Гордон, никогда не уделяла внимания теории, а только заезженным и неточно переданным штампам. Что тебя не интересовало — на то ты и не смотрела. На идеологию. Историю индустриального развития. Экономику.

Экономисты, задумчиво говорит Клаудия массачусетскому небу, счетоводы с ученой степенью. А твои так называемые полемисты, начинает Гордон… Ради бога! — обрывает его Сильвия, люди же слушают! Отнюдь, отвечает Клаудия, наш друг мистер Уинслоу надежно застрял в 1627 году и семейные споры из двадцатого века выше его понимания. Ох, кричит Сильвия, да вы оба просто смешны! Ее лицо морщится, они видят, что она вот-вот разрыдается. Хватит с меня этих разговоров, кричит она, я хочу обедать. И она устремляется по пыльной дороге меж бревенчатых хижин, один раз неловко оступившись. На спине ее темнеет мокрое пятно, волосы растрепаны.

— О боже, — говорит Клаудия.

— Ты ведь к этому и вела, правда? — говорит Гордон, провожая глазами спотыкающуюся фигуру жены. Он думает, не пойти ли за ней, и решает, что без него ей лучше удастся успокоиться, понимая в то же время, что это не то решение, которое

ему следовало бы принять. Извините нас, мягко говорит Клаудия мистеру Уинслоу. Не берите в голову, мэм, отвечает мистер Уинслоу. Клаудия хмурится. Я не уверена, что это выражение соответствует эпохе… вы, возможно, несколько предвосхищаете. На лицо молодого человека набегает тень раздражения. Прошу прощения, начинает он, но нас тщательно проинструктировали… Гордон берет Клаудию под руку. Хорошего понемногу, говорит он.

Да, это моя любимая тема, говорит Клаудия, но тем не менее позволяет себя увести. Я знаю, отвечает Гордон, в этом и беда. Я же говорила, что здесь будет интересно, продолжает Клаудия, и так оно и есть. Тем не менее, говорит Гордон, думаю, пришло время вернуться в реальность.

Клаудия нагибается и смотрит за загородку, где в тенечке дремлет апатичная свинья. Тебе не кажется, что идея альтернативной истории даже несколько интригует? Нет, отвечает Гордон, думаю, это пустая трата времени. А я думала, ты изучаешь всякие теории, замечает Клаудия, тыча свинью в бок маленькой палочкой. Я изучаю вероятности, а не фантазии, отвечает Гордон. Оставь в покое несчастное животное. Скучно, говорит Клаудия. И вообще, вся вселенная давно

признала, что свиньям нравится, когда им чешут спину. Кстати, в прошлом месяце я видела Джаспера. Мы водили внуков на какой-то отвратительный мюзикл.

Что за чудесная семейная картинка, говорит Гордон, нравится ему быть лордом? Время от времени, отвечает Клаудия. Собственная судьба всегда была его главной заботой, замечает Гордон, что он и для чего он. Верно, отвечает Клаудия. А твоя, продолжает Гордон, была бы куда более гладкой, если б ты никогда не имела с ним дела. Не знаю, отвечает Клаудия, иногда мне кажется, что я была обречена встретить Джаспера — или другого такого же. И, согласись, я всегда отдавала ровно столько, сколько получала. Конечно, говорит Гордон, а он сейчас женат? В каком-то смысле, отвечает Клаудия, несмотря на возраст.

Свинья поднимается на ноги и, переваливаясь, бредет в дальний угол загородки. Глупое животное, не понимает традиций, говорит Клаудия. Думаю, пора идти — надо найти Сильвию. Да, отвечает Гордон, думаю, да. Они не трогаются с места. Как-то нелогично, говорит Клаудия, что ты рассматриваешь альтернативные судьбы внутри личностного контекста. Я исхожу из того, отвечает Гордон, что люди принимают решения.

Хотя вынужден признать, что одни делают это лучше, чем другие. Только безнадежно деклассированные элементы абсолютно не в состоянии контролировать то, что с ними происходит. Словно эта несчастная свинья двадцатого века, говорит Клаудия, принужденная жить в условиях века семнадцатого на забаву туристам и в интересах сохранения национального наследия Америки.

Они поворачиваются и медленно возвращаются в координационный центр, в настоящее, где их ожидает Сильвия. Я придумал новую игру, говорит Гордон, только для нас с тобой. Это что-то вроде исповеди. Каждый из нас признает неправильный выбор, а потом другой придумает альтернативу. Скажем, ты признаешь Джаспера, а я предложу тебе, например… м-м… Адлая Стивенсона, с которым, я помню, ты недолго встречалась — и сияла как медный грош. Скажем, ты родила ему прекрасного сына, который теперь стал губернатором Массачусетса. А ты в чем признаешься? — требовательно спрашивает Клаудия. А я признаю, что зря сменил род занятий, отвечает Гордон, мне не следовало бросать крикет. Я бы сейчас был капитаном сборной Англии на пенсии и заслужил всеобщее признание там,

где оно действительно чего-то стоит, Не валяй дурака, говорит Клаудия, я же вижу, что в твоей игре для меня и для тебя разные правила. Я не играю. И вообще, я хочу пить.

Они входят в ресторан. Сильвия сидит за столиком перед стаканом чая со льдом и блюдом салата. Лицо у нее все в пятнах. Она встречает их с видом уязвленного благородства, Не имела понятия, когда вы вернетесь, говорит она, так что заказала без вас. Гордон кладет руку ей на плечо. Извини, дорогая, говорит он, так оно и есть. Мы зазевались. Надеюсь, ты отдохнула. Заказать тебе еще что-нибудь? Отрешенно и обиженно Сильвия отвечает, что съела бы мороженое.

Автостоянки, вестибюли, туалетные комнаты и рестораны наложены на дикую природу. Мне представляется, что одновременно существует сразу несколько пространств: реальное и ирреальное, данное нам в ощущениях и воображаемое. Это становится моей собственной системой координат; прошлое, пережитое вместе с другими людьми, становится твоим личным. Гордон и Сильвия в тот день несколько лет назад, бок о бок с плимутскими поселенцами, — и кучка музейных служащих в маскарадных костюмах.

4

— Что это? — шепчет она, поднимая руку.

— Что, мисс Хэмптон? — переспрашивает сиделка. — Да ничего, просто окно.

— Там… — она тычет рукой в воздух, — то, что движется… Как оно называется? Скажите!

— Я ничего не вижу, — сухо отвечает сиделка, — Не суетитесь, голубушка. Вы сегодня немножко не в себе. Поспите. Я задерну шторы.

Женщина вдруг успокаивается.

— Шторы, — бормочет она, — шторы.

— Да, голубушка, — говорит сиделка, — сейчас задерну шторы.

Сегодня память подвела меня. Я не могла вспомнить простейшее слово, какой-то заурядный предмет интерьера. Какое-то мгновение передо мною зияла пустота. Язык связывает нас с миром, без него мы существуем хаотично, как атомы. Спустя некоторое время я произвела ревизию комнаты — перечислила все, что в ней было; кровать, стул, стол, картину, вазу, шкаф, окно, шторы… Я перевела дух.

Мы открываем рот и произносим слова, о про-

исхождении которых даже не догадываемся. Мы ходячие лексиконы. Одно пустячное замечание в праздной болтовне способствует хранению наследия римлян, викингов и англосаксов; в наших головах настоящая кунсткамера, что ни день мы отдаем дань памяти людям, о которых никогда не слыхали. Но мы еще красноречивее, наш язык — язык книг, которых мы никогда не читали. Шекспир и Королевская Библия[49] обнаруживают себя в супермаркетах и автобусах, звучат по радио и телевидению. Мне это кажется чудом, которому я не перестаю удивляться. Удивляться тому, что слова такие стойкие, их разносит ветер, они зимуют под снегом и вновь пробуждаются, укрываются в самых неожиданных местах — и живут, живут, живут,

Я помню хмельное возбуждение, которое испытывала в детстве. Сидя в церкви, я катала слова во рту, как жемчужины, — скинии, притчи и фарисеи, прегрешение, Вавилон и Завет. Разучивала наизусть и выводила нараспев: «Порсена, царь этрусков,/ Клянется, что отныне/ Угроз и притес-

[49] Примечания: 49

Или Библия короля Якова. Вышла в свет в 1611 году, король Яков I лично назначал переводчиков (54 человека). В течение почти 400 лет обладала статусом официального перевода Библии на английский язык.

нений/ Не будет знать Тарквиний».[50] Втайне ликовала, что Гордон не знает, как пишется слово «антидизэстеблишментарианизм» — самое длинное в словаре. Я рифмовала, богохульствовала и наслаждалась. Я коллекционировала имена звезд и растений: Арктур, Орион и Бетельгейзе, донник, дымянка, льнянка полевая. И этому не было конца, слова были точно песчинки на морском берегу, точно листья огромного ясеня, что рос за окном моей спальни, — неисчислимые, непобедимые. «А есть такой человек, кто знает все слова на свете? — спрашивала я свою мать. — Ну хоть один?» «Очень умные, наверное, знают», — неопределенно отвечала она.

Когда Лайза была ребенком, мне интереснее всего было наблюдать, как она сражается с языком. Я не была хорошей матерью — во всех общепринятых смыслах. В младенцах мне чудилось что-то слегка отталкивающее, маленькие дети были надоедливыми и вздорными. Когда Лайза начала говорить, я слушала ее. Я исправляла бессмыслицу, которую прививали ей бабушки. «Собака, — сказала я. — Лошадь. Кошка. Нет никаких гав-гав и иго-го». — «Лошадь», — задумчиво

[50] Примечания: 50

Строки из «Песен Древнего Рима» английского эссеиста и историка Томаса Бэбингтона Маколея (1800–1859).

повторила Лайза, пробуя слово на вкус. Впервые мы с ней общались. «А иго-го нет?» — спросила она тревожно. «Нет, — подтвердила я. — Умница». И Лайза сделала один шаг в будущее.

Дети не такие, как мы. Они сами по себе — непостижимые, недоступные. Они живут не в нашем мире, но в том, что мы утратили и никогда не обретем снова. Мы не помним детство — мы представляем его. Мы разыскиваем его под слоями мохнатой пыли, нашариваем истлевшие лохмотья того, что, как нам кажется, было нашим детством. И в то же время обитатели этого мира живут среди нас, словно аборигены, словно минойцы,[51] люди ниоткуда, в своем собственном измерении.

Когда Лайзе было пять-шесть лет, я частенько водила ее гулять в рощу неподалеку от Сотлея, оттирая матушку Джаспера и тугодумку-гувернантку. Она забавляла и удивляла меня: загадочная маленькая незнакомка, живущая вне этики и знания, не ведающая ни о прошлом, ни о будущем, свободная от всего, в благодати Божьей. Мне хотелось знать, каково это. Я выспрашивала ее со всем коварством, со всеми

---

[51] Примечания: 51

Минойская цивилизация — цивилизация острова Крит (2600–1450 до н. э.)

софистическими ухищрениями, чувствуя за своей спиной поддержку Фрейда и Юнга и веками копившееся знание о восприятии и суждении. А она ускользала от меня, по-прежнему непроницаемая со множеством искусных увертoк, с азиатской премудростью, с постоянной готовностью к маскировке.

Клаудия и Лайза бредут по ковру из пролески, ветреницы и лиственного перегноя. В одной — пять футов восемь дюймов, в другой — три и семь; одной сорок четыре, другой шесть. Кроны оглашает пение птиц. Впереди трусит старый лабрадор и обнюхивает мухоморы. Солнечные монетки россыпью падают сквозь листву на сучья, и ноги, и спину бегущей перед ними собаки. Клаудия тихонько напевает что-то себе под нос, Лайза время от времени присаживается на корточки и тоненькими, проворными пальчиками достает из-под листьев какую-нибудь мелочь.

— Что это? — строго спрашивает Клаудия.

— Не знаю, — отвечает Лайза.

Клаудия нагибается и смотрит:

— Это мокрица.

— У нее есть ножки, — говорит Лайза.

— Да, — подтверждает Клаудия, слегка передернув плечами, — много ножек. Не сжимай ее так.

Ты делаешь ей больно.

— А она не хочет, чтобы я сделала ей больно?

— Ну… — Клаудия хмурится, старательно подбирает слова, — тебе же не хотелось бы, чтобы другие люди сделали тебе больно?

Лайза смотрит на Клаудию безо всякого выражения и роняет мокрицу на землю:

— У тебя смешные глаза.

Клаудия, чьи глаза удостаивались более лестных комплиментов, утрачивает свое благодушие и смотрит на дочь с удивлением.

— В них черные дырочки, — продолжает Лайза.

— А… — говорит Клаудия, — это зрачки. У тебя они тоже есть.

— Нет, у меня нет, — отвечает Лайза со смешком. Она идет прямо перед Клаудией, так что той надо умерять шаг, чтобы не упасть. У Клаудии вдруг испортилось настроение — отчасти от того, что ей приходится семенить, но и по какой-то другой, непонятной ей самой причине. Она перестает напевать и задумывается. Наконец, она говорит:

— Помнишь, как я водила тебя на пляж и ты плавала?

— Нет, — сразу же отвечает Лайза.

— Ну конечно помнишь, — сердится Клаудия. — Я еще купила тебе желтый надувной круг. И лопатку. Это было месяц назад.

— Это было давным-давно. Ну, не так, чтобы совсем-совсем давно, — говорит Лайза.

— Ну вот! Ты же помнишь.

Лайза молчит. Она поворачивается к Клаудии, и та видит, что она забавно скосила глаза.

— Не делай так. А то глаза останутся косыми.

— Я строю рожу.

— Оно и видно. Это не очень-то красиво.

Пронзительно поет малиновка. Вокруг шумит, колышется и качается лес. Теплый летний ветерок обвевает их лица и руки. Собака испражняется на мох. Лайза внимательно смотрит и не говорит ни слова. Клаудия садится на упавшее дерево.

— Почему ты села? — спрашивает Лайза.

— У меня ноги устали.

Лайза трет свою лодыжку:

— А у меня нет.

— Может, это оттого, что они короче.

Лайза вытягивает свою ногу и внимательно на нее смотрит. Клаудия тоже смотрит. Собака лежит на траве, положив нос на лапы. Лайза говорит:

— У Рекса тоже короткие ноги. И у него ног больше.

— Раз так, — замечает Клаудия, — он, наверное, больше устал. Как думаешь?

— Я не знаю, — быстро отвечает Лайза, — а ты как думаешь?

— Я тоже не знаю. Я хотела услышать твое мнение.

Лайза занята тем, что обрывает головки лютиков и собирает их в горсть. Она не обращает внимания на Клаудию, которая достает сигарету и закуривает. Дым сигареты вьется в снопах солнечного света и повисает затейливой прозрачной дымкой. Лайза поднимается на ноги и, разрывая дымную завесу, подходит к собаке, высыпает цветы ей на голову. Пес и ухом не ведет. Лайза приседает и что-то тихонько ему говорит.

— Что ты сказала Рексу? — спрашивает Клаудия.

— Ничего, — не поворачивая головы, отвечает ее дочь.

Деревья напевают песни. А еще они шипят и свищут, и их стволы глазеют сквозь листву. У них большие жуткие глаза, и смотреть в них нельзя, а не то оттуда выскочит какое-нибудь чудовище и утащит тебя — призрак, или ведьма, или старик,

вроде того, который подметает улицу напротив дома Клаудии в Лондоне. Если только она успеет сосчитать до десяти раньше, чем дойдет до этого дерева, которое шикает и бормочет и смотрит на нее, если только она успеет и не собьется, тогда с ней ничего не случится, и страшные глаза исчезнут; ну вот, она успела, и глаза больше на нее не смотрят.

Клаудия правда ее мамочка, но она не любит быть мамочкой, и поэтому надо говорить «Клаудия». Бабуля Хэмптой и бабуля Бранском любят быть бабулями, поэтому их можно так называть. «Мамочка» — глупое слово, коль скоро у меня есть имя — Клаудия. «Кольскоро» — смешное слово, как будто кто-то поскользнулся. Кольскоро, кольскоро. Кольскоро у меня есть имя — Клаудия.

Лайза — красивое имя. Клаудия гремит, словно гонг в холле Сотлея. Бамм! А Лайза шелестит, как шелк или дождик. Лайза. Лайза. Если повторять это много раз, то это уж будешь не ты, не Лайза, не я — а просто слово, которое никогда не слышала. Лайза. Лайза.

Эта козявочка с ножками, мокрая козявочка, вдруг она кусачая? Она бросила ее и наступила бы на эту ужасную козявку, но Клаудия не сводит с нее глаз. В глазах у Клаудии черные дырочки,

совсем как у деревьев, а внутри, наверное, сидят злые маленькие зверьки, кусачие маленькие зверьки с острыми зубками, они выглядывают оттуда, как из норки.

Она поднимается на цыпочки, чтобы заглянуть Клаудии в глаза, и лицо у Клаудии делается сердитое.

Когда-то давным-давно, но не так, чтобы совсем давно, они с Клаудией ходили на пляж. Вообще-то, они ехали в машине Клаудии. Деревья рядом с дорогой мелькали шух-шух-шух, убегали изгороди, а потом уж были пляж и море, очень-очень мокрое, глубокое и шумное. Клаудия велела ей залезть в желтую резиновую штуку и идти на глубину. Все в порядке, сказала Клаудия, с тобой все будет в порядке, я тебя поддержу, тебя никуда не унесет. А под ней не было ничего, одна глубокая, глубокая вода, и в ней рыбы; если Клаудия перестанет ее держать, она опустится на дно. Все-таки давно это было. Очень давно.

Сейчас она намажет Рекса маслом, и из него получится бутерброд. Бутерброд из собаки. Сначала маслом, а потом вареньем. Для варенья подойдут ягоды с того куста. Но сначала надо найти масло… много масла. Если не слушать Клаудию и не отвечать, она перестанет спрашивать и исчезнет.

Р-раз! Растворится в воздухе, как волшебство, как дым от ее сигареты, который все тает, тает, а потом исчезает без следа. Через этот желтый солнечный дым можно пройти, если развести его руками, как воду.

Сейчас она наколдует, чтобы Клаудия превратилась в дым. Она наклоняется к Рексу и шепчет ему, что хочет заколдовать Клаудию.

Той Лайзы, способной на столь малое и столь многое благодаря своему невежеству, более не существует. Она мертва, как мертвы аммониты и белемниты, люди со снимков Викторианской эпохи, плимутские поселенцы. Недостижима, в том числе, для нынешней Лайзы, которая, как и все мы, должно быть, пытается нащупать то далекое иное «я», манящую загадочную эфемериду. Нынешняя Лайза серьезная занятая женщина, почти сорокалетняя, которая пытается совладать с двумя агрессивными сыновьями-подростками и мужем. По наиболее расхожей точке зрения, он — известный в своих краях торговец недвижимостью, а по-моему, наглядный образчик дегенерации британской нации в пору между

Макмилланом[52] и Тэтчер.[53] Вот до чего мы докатились. У Гарри Джемисона влажное рукопожатие, сырые суждения, замаринованные в жиденьком рассоле местного клуба «Ротари» и газеты «Дейли телеграф», отвратительный фермерский дом в окрестностях Хенли, с теннисным кортом, бассейном и россыпями гравия, которые соответствуют милым его сердцу представлениям о загородной усадьбе. После того как они поженились, я не провела в его компании в общей сложности и шести часов.

Это было продиктовано милосердием, равно как и благоразумием: я нагоняю на беднягу суеверный страх. При моем появлении он начинает заикаться, на лбу выступает испарина, кубики льда не попадают в джин-тоник или Пиммз № 1,[54] стаканы летят на пол, нож режет не лимон, а его руки. Когда мне хочется повидать Лайзу, я везу ее обедать в Лондон, вверяя Гарри Джемисона безмятежному приему пищи

---

[52] Примечания: 52

Гарольд Макмиллан, премьер-министр Великобритании с 1957 по 1963 год.

[53] Примечания: 53

Маргарет Тэтчер, премьер-министр Великобритании с 1979 по 1990 год.

[54] Примечания: 54

Алкогольный напиток на основе джина с ароматом ликера и фруктов.

в «Ротари», гольф-клубу и местному церковному приходу.

Почему она вышла за него замуж? В самом деле, почему? Вот опять я ищу таинственные связи, скрепившие союз двух людей на долгие годы. Должна признать, что в этом случае вина отчасти лежит на мне. Не будь я такой, какая я есть, Лайзе не пришло бы в голову ухватиться за первого попавшегося сравнительно молодого мужчину, чтобы обозначить свой статус замужней женщины, свою территорию.

Естественно, я присутствовала на свадьбе. Так же как и ее отец.

Клаудия стоит лицом к лицу с Джаспером в центре благопристойного вакуума; на них с любопытством поглядывают остальные приглашенные.

— Ну, — говорит она, — вот и ты.

— Вот и я. Вот и ты. Очень хорошо выглядишь, Клаудия.

У него в волосах появился намек на седину. И все тот же слегка взъерошенный вид: дорогой костюм не мешало бы отгладить, галстук не строго перпендикулярен полу, на рукаве следы пепла. Она втянула носом воздух:

— Как видно, у тебя новая подружка. И еще

моложе, чем ее предшественница. Дурной знак — прежде ты был более разборчив.

Он пропускает это мимо ушей и оглядывает комнату.

— Кто все эти люди?

— Местная jeunesse dore'e,[55] — отвечает Клаудия.

— Нам надо вливаться, я полагаю.

— Выливаться.

Он улыбается своей откровенной сексуальной улыбкой и она чувствует, как в ней закипают раздражение и страсть.

На другом конце комнаты, полной безвкусно одетых незнакомцев, Джаспер видит Клаудию. Она, в красном платье, без головною убора среди шляп с перьями и вуалями, кажется здесь восхитительно неуместной. Они идут навстречу друг другу. Он рассматривает ее, вспоминает ее, наслаждается ею.

— Твою последнюю книгу продают на каждом углу, Клаудия.

— Я на меньшее и не рассчитывала. — Как ты?

— Превосходно.

— Что этот юноша… он разумен?

---

[55] Примечания: 55
Золотая молодежь (фр.). — Примеч. пер.

— Судя по всему, да, — отвечает Клаудия, — вполне вменяем.

— Лайза выглядит великолепно.

— Нет. Бледная, как обычно, а платье вообще ужасное. Идея твоей матери.

У нее за спиной он видит мать; она отважно улыбается и приветствует гостей.

— Надо бы побродить здесь.

— Еще не перебродил?

Она смотрит на него, и он вдруг решает, что не будет возвращаться в Лондон сегодня вечером.

— Поужинаешь со мной?

— Даже не надейся, — огрызается Клаудия.

Он пожимает плечами:

— Уже договорилась с кем-то?

— Не твое дело, Джаспер.

Минутная прихоть превращается в потребность; он берет из ее рук стакан:

— Позволь, я принесу тебе еще один.

Лайза, затянутая в корсет так туго, что, кажется, готова выскочить из собственного худенького тела, из чудесного шелкового платья, которое бабуля Бранском заказала в «Хэрродс»,[56] видит их, стоящих посреди комнаты (люди украдкой на

---

[56] Примечания: 56
Престижный лондонский универмаг.

них поглядывают), и в животе у нее появляется тянущая пустота. Уж не ссорятся ли они? Если нет, это, пожалуй, еще хуже. Она закусывает губу, сердце глухо бьется, и яркие краски этого дня меркнут. Лучше б они не приходили, лучше б они ушли, лучше б их вообще не было. Мать даже не позаботилась надеть шляпу, и отец не в визитке, как отец Гарри, а в обычном костюме. Но даже несмотря на это, они выглядят элегантнее всех остальных, ярче, интереснее и значительнее.

Мы с Джаспером провели вместе ночь в гостинице в Мейденхэде,[57] за завтраком поссорились и не виделись два года. Прямо как в старые времена. Секс был продолжительный и незабываемый; ссора тоже. Все вертелось вокруг тогдашней деятельности Джаспера в роли телевизионного магната. Он стоял за созданием только что вышедшего на экраны необъятного сериала, в основу которого легла история Второй мировой. Главный герой, молодой офицер, продвигается по театру военных действий от Балкан к Дальнему Востоку в антураже исторических реалий — военного кабинета Черчилля, высадки союзных войск, Ялтинской конференции. Постановку

[57] Примечания: 57
Город в графстве Беркшир, примерно в 40 километрах от Лондона.

много хвалили и обсуждали; ей предстояло стать первой в ряду дорогих глянцевых картин, тщательно воссоздающих недавнее прошлое. Джаспер довольно мурлыкал. Он ждал, чтобы я засвидетельствовала свое восхищение. Я сказала: «Терпеть не могу этот фильм». Он поинтересовался почему. Я объяснила: он умаляет прошлое, превращает историю в развлекательное чтиво. Обычный самоуверенный догматизм, отозвался Джаспер, твоя беда в том, что ты не способна к компромиссам, это же новый способ духовного контакта. Атмосфера накалилась. Я заявила, что так оно и есть, а новоиспеченные медиумы вроде него наживаются за счет облапошивания других. А ты, отрезал Джаспер, получаешь гонорар за книги, в которых занимаешься почти тем же самым. Я указала на разницу между историческим анализом и исторической беллетристикой. Он сказал, что в моих книгах беллетристика цветет пышным цветом и что я завидую. Он приплел сюда же и тот фильм о Кортесе. Это другое, сказала я, там я просто зритель. Мы честили друг друга на все корки, сидя за покрытым белоснежной скатертью столиком в украшенном цветами баре на берегу реки; официантки боязливо жались к стенам. Наконец, он сказал: «Ты до смешного близко

принимаешь это к сердцу, Клаудия. Воспринимаешь этот сериал как личное оскорбление. С чего бы это — тебе лучше знать». Я поднялась и вышла. Глупо, конечно.

Клаудия в одиночестве сидит перед телевизором. В комнате тепло и покойно, шторы задернуты, шум дождя и машин остался за окном, в руках у нее бокал вина, ноги подняты повыше — рабочий день закончился. Прошли титры, начинается фильм. Это история о частном и всеобщем; показано, как юный герой, призванный в армию в 1939-м, прощается с матерью и невестой, германская армия вторгается во Францию, Черчилль созывает совет. Развитие действия также оставляет двойственное впечатление. С одной стороны, это дорогостоящая постановка, с профессиональными актерами, продуманной режиссурой, вниманием ко всем деталям — вплоть до тщательно отмеренной порции масла, от которого лоснятся волосы главного героя, вмятин на баках для воды в войсковом кафе, закадрового рокотанья мотора джипа. И тут же врезаются совершенно любительские кадры, нереалистичные, нелепые: ружьями пользуются как молотком, бегут в полной тишине солдаты, танки и грузовики собираются в колонны и тут же

нарушают строй. Повсюду живенькое цветение беллетристики: розовощекие актеры, зеленая травка, голубое небо. Реальность — черно-белая, лица молодых солдат, что ухмыляются и машут с палубы корабля, бледны, а море — мрачное и серое, как пустыня. Клаудия потягивает маленькими глотками вино и внимательно смотрит: она замечает пачку сигарет «Плейерс»,[58] которую герой достает из кармана походной формы, шляпку-блюдце[59] на голове его невесты. С экрана доносился прилипчивый запах ностальгии. Она видит черную вереницу итальянских военнопленных, бредущих по серой пустыне, черный дым валит от рухнувшего самолета, белый дым вырывается из пушечного жерла.

История, которую она смотрит, обрела вдруг и третье измерение, менее определенное, но тем не менее самое отчетливое. Его можно ощутить, вдохнуть, прикоснуться. Оно пахнет «лунным тигром», керосином, нечистотами и пылью. Оно настолько отчетливо, что Клаудия встает, убирает звук и молча, глядя в немой экран, на котором

---

[58] Примечания: 58

Рисунок на пачке сигарет «Плейерс» несколько раз менялся, в том числе, в 1940-м году.

[59] Примечания: 59

Фасон вошел в моду после Второй мировой войны.

продолжается история.

«История, — бросил Джаспер через стол в баре в Мэйдехэде, — в конце концов, общественное достояние».

О да, еще бы! В этом и беда, и несчастное общество век за веком не перестает в этом убеждаться. В чем-то он прав — историки получают свою малую мзду, почему бы не присоединиться к ним Джасперу и ему подобным? Лишь упрямые безапелляционные стервы вроде меня будут до хрипоты доказывать, что есть вещи неприкосновенные и что к тому времени, как мы научимся изо всего делать развлечение, мы обнаружим, что веселиться-то, по большому счету, не над чем.

Джаспер разбогател. Он и прежде не испытывал нужды в деньгах — сейчас он стал состоятельным человеком. Кинокомпании и торговые банки жаждали его совета, восхищались, не любили, заискивали, не доверяли.

Я опубликовала свою работу о Тито, которой посвятила пять лет, и получила много отзывов. Джаспер написал: «Поздравляю, моя дорогая. "Люди, живущие в стеклянных домах..."».[60]

Довольно о Джаспере. Сейчас уже понятно,

---

[60] Примечания: 60

Приблизительный аналог русской пословицы «В чужом глазу соринку видит, а в своем бревна не замечает».

какое место в моей системе мира отводится ему. Прежде всего — любовник, собеседник, с которым можно поспорить, отец моей дочери; наши жизни порой соединялись, порой разделялись, но связь не рвалась никогда. Я любила его когда-то, но сейчас не помню, как это было.

Я уже говорила о том, что для меня значит язык. Я веровала в язык, как в бога, — отсюда и паника, когда одно из слов вдруг покинуло меня: я смотрела на кусок цветастой ткани, висевшие перед окном, и не могла вспомнить название. Шторы. Слава тебе господи. Я властна над миром до тех пор, покуда помню имена того, что его составляет. Поэтому и дети принуждены овладеть языком прежде того, как начнут делать что-то еще, укрощать необузданность природы, умея ее описать, бросить вызов богу, узнав сотни его имен. «Как это называется? — спрашивала меня Лайза — А это? А вот это?»

То, что я могла предложить ей, не было дежурным раем материнской любви и заботы — это были мои энергия и разум. Если бы в ней изначально не были заложены зачатки мысли и действия, я научила бы ее мыслить и действовать. Я не слишком хорошо могла осушить слезы и рассказать сказку на ночь — то, что умеет любая

мать. Но то, что давала ей я, таило значительно большие возможности.

Она разочаровала меня. А я, весьма вероятно, разочаровала ее. Я хотела видеть свое alter ego,[61] жадного до знаний, неуемного, самодостаточного ребенка, каким была сама. Лайзе же была нужна мать, дающая успокоение, знающая толк в шерри и магазинах одежды, — такая, как мамаши ее школьных подруг. Когда она стала подрастать, я все чаще замечала на себе ее пристальный взгляд — всякий раз, как навещала ее в Сотлее, забирала в Биминстер[62] к своей матери или привозила на пару дней в лондонскую квартиру. Там она и бродила, маленькая бледненькая фигурка маячила в дверном проеме или забиралась на диван. Я покупала ей книги. Я водила ее в музеи и картинные галереи; я поощряла ее говорить и спрашивать. Лайза становилась все больше, невосприимчивее и зауряднее. Она начала меня утомлять. И я чувствовала ее неодобрение. Неодобрение было моим вечным спутником. Чаще всего оно оставляло меня равнодушной. Порой я получала от него большое удовольствие. Но неодобрение,

---

[61] Примечания: 61
Второе я (лат.).

[62] Примечания: 62
Город в графстве Дорсет, Англия.

исходившее от ребенка подействовало странным образом удручающе. Я поднимала глаза от письменного стола и видела, как Лайза, вцепившись в штору, грызет ногти и не сводит с меня глаз. Она так и стоит у меня перед глазами: такой я ее видела много, много раз и это символ того, что у нас с ней есть общего. Воспоминания которые мы с ней делим. Наши с ней жизни протекали по-разному — и разными были мы с Лайзой.

— Иди и почитай книгу, которую я тебе купила, — говорит Клаудия; ее авторучка снует по бумаге.

— Я уже читала.

— Тогда.. — Клаудия замолкает, быстро проглядывает написанное и что-то обдумывает. Потом поднимает глаза на Лайзу — надоедливую маленькую тень у окна. — Не надо грызть ногти, милая. И не тяни штору.

Лайза молчит. Она выпускает изо рта ноготь, а из рук — штору, но остается на прежнем месте. Клаудия берет еще один лист бумаги, пишет.

— Пожалуйста, Лайза, иди займись чем-нибудь. У меня совсем нет времени. Мне надо ответить на эти письма. Потом мы куда-нибудь сходим.

— Я не знаю, чем заняться, — говорит Лайза через минуту … две минуты.

Все, хватит, думает Клаудия, в следующий раз найму кого-нибудь из агентства, чтоб сводили ее в зоопарк, не важно куда… Нужно иметь особую натуру, чтобы ладить с детьми. Я этого не умею. И слава богу.

У Клаудии ногти, как ярко-розовые сахарные мышки. Если б у тебя были такие ногти, ты была бы как Клаудия, могла бы делать, что хочешь, говорить, что хочешь, ходить, куда хочешь.

У тебя бы не было времени, совсем-совсем, ты бы приходила, потом уходила: скажи швейцару, пусть вызовет нам такси, милая, и давай скорей-скорей надевай пальто.

Бабуля говорит, что, если будешь грызть ногти, на тебе никто не захочет жениться. На Клаудии никто никогда не женился. Джаспер и Клаудия не женились, потому что не любили друг друга настолько сильно, так говорит Клаудия. Надо очень полюбить, чтоб жениться. А если ты грызешь ногти, на тебе никто не женится, даже если полюбит. А красить ногти розовым лаком нельзя, пока не вырастешь, а этого никогда не будет. У Клаудии на туалетном столике много маленьких бутылочек с розовым лаком разных оттенков — «розовый клевер» и «розовый румянец», «ярко-розовый» и «гавайский красный». У бабули на туалетном

столике одеколон, и банка кольдкрема, и щетка для волос, и зеркало в серебряной оправе.

«Иди займись чем-нибудь», — говорит Клаудия. Я не могу, кричит Лайза. Я не могу не могу не могу я не знаю куда идти и чем заняться я хочу чтоб у меня были такие розовые ногти как у тебя я хочу чтоб я была ты а не я, я хочу чтобы ты посмотрела на меня я хочу чтобы ты сказала мне какая я красивая.

5

— Бог, — говорит она, — беспринципный ублюдок, вы не находите?

Сиделки, одной из которых двадцать один, а другой — двадцать четыре, на мгновение застывают, прервав расторопное взбивание подушек и подтыкание одеял. Они обмениваются быстрыми понимающими взглядами.

— Боже ж мой, — говорит белокурая сиделка, — смешно вы сказали. Вам чай или кофе, мисс Хэмптон?

— Подождите, — перебивает Клаудия, — не может быть, чтоб вы, работая в таком месте, никогда об этом не задумывались. Так да или нет?

— Я в религию не верю, — говорит темноволосая сиделка. — А вот моя мать ходит в церковь. Так вам чай или кофе, голубушка?

— Что ж, я надеюсь, она знает, что делает, — отвечает Клаудия. — Чай. Без сахара.

Я бы никогда не дала согласия, чтобы Лайзу крестили. Джасперу не было до этого дела. Бабки, вступив в коварный сговор провернули это дельце у меня за спиной, отвезя ее к приходскому

священнику в Сотлее (засим, не сомневаюсь, последовал чай для нескольких избранных друзей). Я узнала об этом спустя несколько месяцев, совершенно случайно, и набросилась на обеих. Что это? — вопрошала я. — Прививка от бесовщины? Договор с Богом? А меня кто спросил? Они защищались, сообразно своим способностям. Мы не спросили, потому что ты была так занята, говорила мама. Мы же знали, что ты не захочешь приехать. Клаудия, дорогая, вздыхала леди Бранском, мы просто подумали, что это было бы хорошо. Она такая маленькая, бедняжка, всем так хочется что-то для нее сделать. Викарий бы обиделся, если бы мы его не попросили. Итак, Лайза вступила в лоно Англиканской церкви с тем, чтобы не нанести обиды, и чтобы леди Бранском могла извлечь на свет божий фамильную крестильную рубашечку и чайный сервиз «Краун Дерби». Ну, сказал Джаспер, осмелюсь предположить, от этого не будет особенного вреда. О, конечно нет; это то же самое, что быть членом нескольких клубов — никогда не знаешь, какой может пригодиться.

— Кстати, — говорит Клаудия, — ты не отреклась от церкви?

Лайза вздрагивает и опускает книгу, которую

читает; глаза матери закрыты, заостренный тонкий нос устремлен в потолок, но она, по всей видимости, не спит.

— Ты не спишь… а я не заметила.

— А… — отвечает Клаудия, — не сплю ли я? Я сама иногда не знаю.

Лайза закрывает книгу. Она поднимается, оглаживает платье, подходит и смотрит на Клаудию сверху вниз. Она думает вдруг, что ей не часто доводилось смотреть на Клаудию сверху. Спрашивает, не хочет ли Клаудия чего-нибудь. Может, позвать сиделку?

— Нет, — отвечает Клаудия. — Хватит с меня сиделок. Ты не ответила на мой вопрос.

— Я редко бываю в церкви, — говорит Лайза, — если ты это имела в виду. Так, от случая к случаю — Рождество, какие-то обряды у мальчиков в школе, все в этом духе.

— Это не то, что я имела в виду, — замечает Клаудия. Лайза рассматривает лицо Клаудии. Оно цвета пожелтевшей слоновой кости, глаза в глубоко запавших фиолетовых глазницах, под сморщенной кожей проступают кости черепа.

— Я не уверена, что верю в Бога.

— А я верю, — отзывается Клаудия, — кто еще мог так основательно все испортить?

В дверь просовывается голова сиделки — той, которой двадцать один год, белокурой.

— Все в порядке?

— Да, — отвечает Лайза. — Спасибо.

— Она сегодня в настроении. Любезна и разговорчива.

Дверь закрывается. Клаудия открывает один глаз, смотрит, ушла ли сиделка, и переводит взгляд на потолок:

— Расскажи мне, что ты поделываешь.

— Ну, — начинает Лайза, — в прошлые выходные у мальчиков был конец семестра, поэтому Гарри повел их на регби. В субботу вечером мы все вместе ходили в Королевский Шекспировский театр на «Короля Лира». Нам очень понравилось. А потом поужинали в ресторане «Руле» — у Тима был день рождения. Еще… хм… сейчас вспомню…

…В понедельник после обеда я была с мужчиной, мы уже четыре года любовники, ты о нем ничего не знаешь и не узнаешь никогда. Не потому, что ты бы этого не одобрила, как раз наоборот. А еще потому, что с самого детства я многое утаивала от тебя: серебряную пуговицу, найденную на тротуаре, губную помаду из твоей сумочки, мысли, чувства, мнения, намерения,

своего мужчину. Ты не такая всеведущая, какой себя считаешь. Ты знаешь не все, и уж точно не знаешь меня. Ты судишь и выносишь приговор; ты никогда не ошибаешься. Я не спорю с тобой, я просто смотрю на тебя и думаю о том, о чем думаю. О том, чего не знаешь ты.

Этого мужчину зовут Пол. Я рассказала ему о тебе и о Джаспере; в какой-то мере, насколько это возможно для постороннего человека, он понял. Ему было бы интересно познакомиться с тобой. Возможно, однажды я приведу его сюда, просто посмотреть через глазок в двери. Ты его не увидишь.

— «Вознесем молитвы…» — передразнивает Клаудия, — Ха! Дважды в своей жизни я возносила молитвы, и ничего хорошего это мне не принесло. Как, впрочем, и любому другому.

Бог получит главную роль в моей истории мира. Да и как может быть иначе? Если Он существует — Он в ответе за все чудесное и отвратительное. Если же нет, это означает, что одно лишь допущение его бытия убило больше людей и растревожило больше умов, нежели что-либо другое. Он господствует на сцене. Во славу Божию придуманы дыба, тиски для пальцев, «железная дева» и костры для живых людей. Его именем людей

распинали, сдирали с них кожу, поджаривали на угольях, обваривали кипятком, сплющивали им кости. Он породил крестовые походы, погромы, инквизицию и несчетное множество войн. Но не будь Его, не было бы «Страстей по Матфею», Микеланджело и собора Нотр-Дам в Шартре.

Каким же я должна представить Его — этот невидимый вездесущий катализатор? Как же я преподнесу своему читателю (не просвещенному читателю, а, скажем, простому стороннему наблюдателю) тот необычайный факт, что большую часть своей письменной истории человечество в массе признавало главенство надо всеми вещами некой неопределяемой и непреклонной Силы?

Я войду в здание. В здание, выстроенное в форме креста, не подходящее ни для мирной жизни, ни для обороны. Я умножу его на тысячу, на десять тысяч, на сотни тысяч подобных зданий. В нем может быть всего одна комнатка; оно может вздыматься под облака. Оно может быть ветхим или совсем новым, скромным и роскошным, оно может быть выстроено из камня или дерева, из глины или кирпича. Его можно найти в центре большого города и в самых диких уголках земли. Оно встречается на островах, в горах и пустынях. В Провансе и Саффолке, Тоскане и Эльзасе, в Вер-

монте, Боливии и Ливане. Стены и обстановка в этом здании повествуют о прошлом, они хранят истории о королях и королевах, ангелах и бесах; они поучают и ужасают. Они и созданы для того, чтобы воодушевлять и внушать трепет. Они — аргумент, лежащий на поверхности.

Этот аргумент также имеет большое значение. Я говорю сейчас о наследии Божьем (или того, что нам представляется Богом) — но не об идеях, а о виде из окна. Церкви всегда казались мне свидетельством почти что непреложным. Они заставляли меня усомниться — только усомниться — в том, права ли я.

Однажды я пришла молиться. Преклонила колени в соборе Святого Георгия в Каире и попросила так называемого Бога о помощи и прощении. Мне был тридцать один год.

Она входит из яркого и беспорядочного внешнего мира — палящего полдня, громыхания трамваев и повозок, хаоса людей, фур и животных, из пропахшего керосином и нечистотами Каира — в покойную прохладу собора. Женщины в шелках и крепдешине, перчатках и шляпах обмениваются сдержанными улыбками. Усатые, лысоватые, рослые офицеры, в хрустящем обмундировании цвета хаки и кожаной портупее

похожие на пиратов, положили фуражки на откидные сиденья и преклоняют колени, прикрыв руками глаза. Клаудия, одинокая и несчастная, украдкой и словно нехотя становится возле колонны в глубине храма. Она демонстративно не снимает темные очки.

Обряд англиканской церкви совершается своим чередом. Богу возносят хвалу, молят его и преклоняются перед ним. Скрипят сиденья, шуршат кринолины, повизгивают подошвы на каменном полу. На потную кожу садятся мухи и бывают исподтишка прихлопнуты. Епископ испрашивает у Бога покровительства для британских пехотинцев, моряков и летчиков, а также скорой победы в Западной пустыне. «Аминь», — шепчут склоненные головы, твердые мужские голоса и нежные женские.

И Клаудия возносит свою неловкую безмолвную мольбу о заступничестве. Боже, мысленно произносит она, или кто бы Ты ни был, Ты, к которому пришла я сегодня со своим горем. Я не знаю, кто Ты и существуешь ли Ты, но я не могу более оставаться сама с собой, и кому-то придется обо мне позаботиться. Я не могу больше выносить эту муку. Пусть только он будет жив. Пусть только он не лежит растерзанный в пустыне, не

гниет на солнце. Главное же, не дай ему умирать медленно, от жажды и ранений, когда он не в состоянии подозвать прошедших в двух шагах санитаров. Если нужно, пусть он лучше попадет в плен. С этим я примирюсь. Но, пожалуйста, молю тебя, пусть его не будет среди погибших, чье тело еще не найдено.

«Прости нам прегрешения наши…»

Клаудия колеблется. Что ж, ладно, пусть так. Прости мне мои прегрешения. Если они у меня есть.

«Верую в Бога Отца, Бога Сына и Духа Святого…»

Пусть так. Все, что хочешь. Только исполни.

Собраны пожертвования для детей из коптского приюта в Гелиополисе,[63] паства еще раз возносит мольбы («Даруй победу, о Боже, и вразуми врагов наших…») и поднимается на ноги. Шелковые и ситцевые платья, мундиры, летние костюмы выходят из собора и направляются к аллее вдоль Нила. Клаудия быстрым шагом проходит сквозь эту толпу, ни на кого не глядя, и пересекает улицу, чтобы остаться одной. Она направляется к мосту и стоит там несколько

[63] Примечания: 63

Один из древнейших городов Египта; расположен к северо-востоку от Каира.

минут, глядя поверх реки в сторону Гезиры, на серо-зеленое убранство пальм и казуарин, на блистающую воду и белый серп паруса фелюги. Вот земля, где правит Бог, думает она. Бог, который утолит все печали. И на ум ей приходят новые молитвы. Одним духом поверяет она их пустынному суховею.

Со своего места Лайза наблюдает за Клаудией, которая вроде бы спит, а может быть, и нет. Тишина. Глаза Клаудии закрыты, но губы раз или два слегка дрогнули. Когда еще Клаудия была такой? Лайза не может вспомнить случая, чтобы мать заболела, обнаружила слабость; видеть ее такой — все равно что смотреть на поваленное дерево, которое росло всю твою жизнь. Лайза не задумывается о развязке: мир, в котором не будет Клаудии, невозможно себе представить. Клаудия просто есть; она всегда была и всегда будет.

Лайза задумывается о любви. Она любит своих сыновей. Она любит своего любовника. Своего мужа она тоже каким-то непостижимым образом любит. Любит ли она Клаудию? И, если уж на то пошло — любит ли ее Клаудия?

Все это вопросы, на которые она не может — или не хочет — ответить. Связь, которая существует между ней и Клаудией, в конце концов,

нерасторжима. С нею ничего нельзя поделать, и так было всегда. Она признала это давно, с беспощадной искренностью ребенка.

Лайза читала книги Клаудии; вот мать удивилась бы, узнав об этом. Где-то у Лайзы дома лежал старательно упрятанный коричневый конверт с двумя или тремя газетными фотографиями. Там же была большая статья, посвященная Клаудии. «В профиль» называлась она — и точно, там был профиль Клаудии, не высохший и желтый, как сейчас, а нежный, на фоне бархатного экрана, элегантно повернутый и подсвеченный каким-то умелым фотографом. Автор текста был не так искушен в лести: «Клаудия Хэмптон вызывает оживленные споры. На нее, историка-дилетанта, популяризатора, одни ученые смотрят свысока, другие с жаром доказывают несостоятельность ее теорий. Высокомерие воодушевляет ее: «Они считают, что могут пренебрегать мной лишь на том основании, что мне хватает решимости действовать самостоятельно, не цепляясь за выгоды академического пенсионного страхования. Критика приводит в восторг, ведь она дает ей возможность отыграться: обожаю ломать копья на страницах печатных изданий. Как бы то ни было, победа обычно остается за мной. Она ссы-

лается на спрос, который имеют ее книги. И кто убеждает всех этих людей в том, что необходимо знать и понимать историю? Такие, как я, а не Элтон или Тревор-Ропер».[64] Однако, несмотря на всю браваду, у Клаудии Хэмптон есть уязвимые места. Обозреватели беспрестанно бранят ее за красочное, но, надобно признать, непоследовательное и противоречивое сочинительство. История в стиле техниколор, Элинор Глин[65] исторической биографии, проповеди дилетанта — таковы отзывы критиков о ее творчестве».

Обо всем этом Лайза могла судить беспристрастно. Книги оказались более легкими для прочтения, чем она ожидала; в то, что они небезупречны, ей не составляло труда поверить. Ведь она, что ни говори, знала Клаудию, знала, как та может не знать самых простых вещей.

Клаудия никогда не знала Лайзу. Ибо Клаудия никогда не воспринимала Лайзу отдельно от себя. Клаудия всегда заслоняла Лайзу — даже сейчас, в безликой больничной палате, Лайза сидит и настороженно наблюдает за каждым

---

[64] Примечания: 64

Авторитетные британские историки XX века.

[65] Примечания: 65

Элинор Глин (1864–1943), одна из создательниц жанра «легкой» женской литературы.

ее движением. В присутствии Клаудии Лайза бледнеет, лишается дара речи — по крайней мере, лишается возможности привлечь внимание к своим словам, — становится на пару дюймов меньше ростом и все время, всегда помнит свое место. Но есть другая Лайза, и она совсем не такая. Эта другая Лайза, не знакомая Клаудии, самостоятельная, хоть и не самоуверенная; она привлекательнее и умнее, она искусная кухарка и хорошая мать, вполне достойная, хоть и не образцовая, жена. Она знает теперь, что вышла замуж слишком рано и слишком поспешно и не за того человека, но она научилась обращать обстоятельства в свою пользу. Кроме того, она обнаружила, что хорошо справляется с рутинной организаторской работой; последние пять лет она незаменимый секретарь одного первоклассного частнопрактикующего хирурга, и именно там, на работе, она познакомилась со своим любовником, тоже врачом. Когда-нибудь, когда мальчики повзрослеют, Лайза и ее любовник, возможно, поженятся — если только она сумеет себя убедить, что с Гарри все будет в порядке, что он справится и найдет себе кого-нибудь.

В палате становится темнее, к окнам приникают зимние сумерки. Лайза поднимается,

включает свет, думает, не задернуть ли шторы, собирает вещи в сумку. Когда она надевает пальто, Клаудия открывает глаза.

— Не пойми меня неправильно, — говорит Клаудия, — мой интерес к Всевышнему не означает, что я готовлюсь предстать перед ним. Он исключительно абстрактный.

Лицо ее внезапно дергается, губы сжимаются, пальцы судорожно вцепляются в одеяло.

— С тобой все в порядке? — спрашивает Лайза.

— Нет, — отвечает Клаудия. — А разве так бывает?

Лайза застывает, так и не вдев руку во второй рукав. Странное чувство охватывает ее, и секунду или две она не может понять, что это, а просто стоит и смотрит на Клаудию. Теперь она поняла. Это жалость — жалость овладевает ею, как голод или болезнь. Прежде она испытывала жалость к другим людям — и никогда к Клаудии. Она прикасается к ее руке.

— Мне пора идти, — говорит она, — я приду в пятницу.

Когда я сейчас смотрю на Лайзу, я замечаю на ее лице печать среднего возраста. Это меня расстраивает. В конце концов, наши дети для нас всегда молоды. Девочка, пусть даже молодая жен-

щина, но эти затвердевшие черты, начинающее расплываться тело говорят о том, что времени впереди осталось не больше, чем уже прожито… господи, нет. Я с удивлением смотрю на эту матрону из лондонского предместья, гадаю, кто передо мной, — и вдруг из этих глаз, окруженных трогательными «гусиными лапками», выглядывает и смотрит на меня восьмилетняя Лайза, шестнадцатилетняя Лайза, Лайза через год после замужества, с красным вопящим младенцем на руках.

Все трудней и трудней верить, что в Лайзе есть четверть русской крови. Где-то в этой типичной представительнице типично английского среднего класса, одетой в твидовый костюм, пышную шелковую блузку и начищенные до блеска туфли, живет частичка самой жестокой истории в мире. Где-то в ее душе, хоть она не знает об этом и не хочет знать, звучат позывные Санкт-Петербурга и Крыма, Пушкина и Тургенева, миллионов терпеливых крестьян, свирепой зимы и засушливого лета, и самого прекрасного языка из всех, когда-либо звучавших на земле; где-то там самовары и дрожки, и печальные миндалевидные глаза, и бесчисленные иконы. Кровь проявит себя — я верю в это так же безоговорочно, но без

той опаски, которую испытывала бедная леди Бранском, изо всех сил старавшаяся изгнать из своей внучки дурную наследственность (бывшую, увы, всецело на ее совести; несчастная Изабель всю жизнь расхлебывала последствия того страстного парижского увлечения). В душе Лайзы живут побуждения, о природе которых она сама не догадывается. Меня это очень интересует и даже захватывает. Я смотрю на Лайзу — и слышу волчий вой в степи, вижу кровь, заливающую Бородино, вспоминаю Ирину, тоскующую по Москве. Все, что в нас есть, чем-то обусловлено, наше представление о мире — подслащенная смесь правды и вымысла. Как бы то ни было, у Лайзы русский дедушка, а это что-нибудь да значит.

Отец Джаспера был самым наглядным объяснением того, зачем русским понадобилось устраивать революцию. Это был человек, лишенный всякого представления о морали, никогда в жизни не работавший и промотавший фамильное состояние — то, что не успел промотать его отец, — прежде, чем ему стукнуло тридцать. Молодые годы его прошли в Париже, Баден-Бадене и Венеции с редкими наездами в Россию, когда предстояло продать очередной кусок имения или

особняк в Санкт-Петербурге. После развода он жил в стесненных, по его представлениям, обстоятельствах и пополнял свои ресурсы, играя на скачках или волочась за богатыми женщинами. Раннее юношеское восхищение Джаспера отцом вскоре сошло на нет: Джаспер любил успех. Шестнадцатилетнему Саша еще мог представляться этакой богемно-шикарной личностью, но двадцатилетний выпускник колледжа увидел в нем не первой свежести тунеядца, который мог потрясти воображение лишь наивных американских папенькиных дочек да содержательниц французских пансионов. После 1925 года Джаспер редко встречался со своим отцом. Я видела его лишь однажды. Это было в 1946-м. Саша объявился в Лондоне. Войну он со всеми возможными удобствами пережил в Ментоне,[66] интернирование каким-то образом его не коснулось, и теперь ему нужны были деньги и полезные связи, а его начинавший приобретать известность сын был самым многообещающим источником как и первого, так и второго. Джаспер пригласил его в свой клуб пообедать и попросил меня присоединиться к ним. Саше было семьдесят — и этого было не скрыть:

---

[66] Примечания: 66
Курорт на Лазурном берегу Франции.

кожа висела складками, набрякшие веки, лисья ухмылочка профессионального обольстителя. Он поцеловал мне руку и сказал то, что говорил при встрече каждой женщине на протяжении полувека. Я, со своей стороны, злонамеренно настояла, чтобы он занял самое удобное кресло, и заботливо поинтересовалась, не дует ли ему. Саша понятливо включился в предложенную ему роль любезного папочки: назвал меня «голубушкой», с приторной сладостью отозвался об успехах своего сына и пригласил нас на свою виллу в Ривьеру. Надо ли говорить, что приглашением этим мы никогда не воспользовались. Джаспер в присутствии отца ощущал неловкость, а мне он показался просто мерзким старикашкой. Но он и сейчас стоит у меня перед глазами, в бережно сохраняемом довоенном кашемировом пальто и шарфе от «Эрмес». Обшарпанный осколок истории, прах своего класса, пепел своего века. После того обеда мы с Джаспером поспорили; это была занятная стычка, прелюдия к баталиям, что предстояли нам впоследствии.

— Ну, — говорит Джаспер, — вот он какой, старый мошенник. А ты чего ждала?

Клаудия, которой изумительно идет зеленый цвет, плывет по Пэл-Мэл, притягивая красноре-

чивые взгляды; желая дать им отпор, он берет ее за руку.

— Примерно того самого.

— Я дал ему сотню фунтов, — говорит Джаспер. — Будем надеяться, теперь он не покажется… по крайней мере год или два.

— Хм, — бросает Клаудия.

— Что?

— Я сказала — хм.

Взгляд ее глаз ласков, но смотрит она не на Джаспера, и он ощущает укол гнева, вызывать который умеет только Клаудия. Легкую дрожь, которая неразрывно связана и с нарастающим желанием

На углу Сент-Джеймс-сквер они остановились.

— У тебя его руки, — говорит Клаудия. — И кажется, линия рта.

— Вряд ли.

Клаудия пожимает плечами:

— Не станешь же ты отрицать ваше родство.

— Я тот, кем я сам себя сделал, — отвечает Джаспер, выходя на дорогу. — Пойдем, можно перейти.

Клаудия выпускает его руку и начинает рыться в сумочке. Он идет вперед, а она остается. Их разделяет поток автомобилей. Джаспер дожидается

ее на противоположной стороне улицы. Клаудия сморкается и не спеша переходит дорогу.

— К тому же, — говорит она, — ты кое-чем обязан ему. Отец передал тебе по наследству драматическое прошлое. Разве это не интересно?

— Не особенно.

— Тебе не интересны тысячелетние метаморфозы истории?

Ее голос звучит отчетливо, звонко. Одна или две головы в котелках поворачиваются к ним

— Я к ним не имею отношения, — говорит Джаспер. — А ты выражаешься чересчур высокопарно.

— Не понимаю, — рассуждает Клаудия, маршируя по Сент-Джеймс-сквер в шаге или двух впереди него, — как ты можешь с таким эгоизмом отрекаться от всего своего исторического наследия только потому, что твой отец не кажется тебе образцом для подражания.

У Джаспера, несмотря на промозглый декабрьский день, запылали щеки. Он нагоняет ее:

— Позволю себе заметить, что ты говоришь слишком громко. И если уж я должен отдуваться за всю Россию, то на тебе, по всей вероятности, лежит печать поколений апатичных дорсетских крестьян. Не очень-то это на тебя похоже,

дорогая.

— Даже не знаю, — отвечает Клаудия, — но без их выносливости явно не обошлось.

Она ласково улыбается хмурому Джасперу.

— А что тебе такого пришлось вынести?

— Больше, чем ты когда-либо узнаешь.

И Джаспера, который к этому моменту знает Клаудию восемь месяцев и девять дней, захлестывает волна противоречивых ощущений. Он без ума от нее, она самая интересная женщина из всех, что он когда-либо встречал, он был бы рад никогда ее не встречать, он не может дождаться, когда они снова окажутся в постели.

— Спасибо за прекрасный обед, — говорит Клаудия.

Как ворвался ветер России в эту строгую клубную залу с обтянутой коричневой кожей мебелью, коричневым полом и коричневыми занавесями? Каким образом этот насквозь фальшивый старый бродяга из Монте-Карло принес с собой свежие запахи, странные отзвуки незнакомых времен и мест? Событий, о которых старый хитрец даже не имеет понятия. Что он знает об истории? Держу пари, он никогда не читал Толстого.

Вся штука в том, что это имеет значение для меня — не для него. Но разве это не интересно?

Время и Вселенная обитают в нашей голове. Мы — скрытая история мира.

— Когда-нибудь, — говорит она, — я напишу чрезвычайно пафосную книгу. Я напишу историю мира.

Но Джаспер уже на середине улицы, решительно шагает вперед. Она задержалась на островке безопасности, чтобы высморкаться и получше оценить высокомерие Джаспера, его упрямство, его сильное мужское тело. Присоединившись к Джасперу на тротуаре, она продолжает спор, который начинает ее забавлять — а забавляет потому, что Джаспер начинает злиться. Для Джаспера наследственность и воспитание — пустые слова, потому что он гордец и эгоист, а эгоист всегда считает, что создал себя сам, он не потерпит каких-либо долгов и обязательств. Его достижения принадлежат ему одному.

— Спасибо за прекрасный обед, — говорит она.

— Ну что ты!

— Мне пора идти. У меня много дел.

— Когда я тебя увижу?

— М-м… — отвечает Клаудия, — позвони мне.

Она искушает судьбу: Джаспер, если как следует разозлится, может не звонить день, два и больше — а этого бы ей не хотелось, ох как не хо-

телось бы. Но самолюбие сильнее беспокойства: никогда Клаудия не позволит Джасперу одержать над собой верх.

— Завтра ужинаем вместе, — говорит Джаспер. Это звучит как утверждение, а не вопрос.

— Может быть, — отвечает Клаудия.

6

Я состарилась вместе с веком; от нас обоих сейчас мало что осталось. Это был воинственный век. Разумеется, вся история состоит из войн, но на этот раз она превзошла самое себя. Сколько их — убитых, искалеченных, сгоревших, замерзших, умерших с голоду, утопленных? Один Бог знает. В то, что Он это знает, я верю: должен же Он вести учет, хотя бы для каких-то своих целей. Я застала первую войну и вторую; третью я уже не увижу. В первой я не участвовала, однако та война призвала моего отца — и отняла его навсегда. Для меня это было как неизбежное явление природы — гроза или снежная буря. Вторая проглотила меня — и выплюнула нетронутой. Внешне нетронутой. Я видела войну — и в этом смысле побывала на войне; я слышала разрывы бомб, ружейные залпы и наблюдала их последствия. И то, что я знаю о войнах, остается самым ярким из живущих в моей голове образов; ночью, когда я лежу без сна и с тоской на сердце, не память, но знание точит мой мозг. Вот что с нами сталось прихотью Божьей — со всеми нами,

мимоходом вычеркнутыми из жизни: на Сомме, во Франции, в Германии, Испании, на Балканах в Ливии, в России… Прежде всего в России. Там, в жерле истории, надлежало бы умереть и Саше — вместо того, чтобы изойти кашлем от бронхита и эмфиземы в доме призрения в Монте-Карло. Ему следовало стать одним из миллионов, и тогда он бы имел право призвать кого-то к ответу. Ему следовало быть единичкой в статистике, от которой стынет в жилах кровь: миллионы умерших в Ленинграде, три миллиона угнанных в трудовые лагеря из Украины и Белоруссии, два миллиона узников в Киеве, четверть миллиона оставшихся калеками из-за обморожения, двадцать миллионов неприкаянных мужчин, женщин и детей, которые к 1945 году не были гражданами ни России, ни какой-либо иной страны. Саше следовало быть одним из стариков Смоленска, Минска, Вязьмы, Гжатска или Ржева, умирающих на снегу подле развалин своих домов, когда мимо них маршируют германские орды. Ему следовало быть сгорбленным, закутанным в рвань существом с ящиком на спине, кравшимся по сюрреалистическим руинам Мурманска на фотографии 1942 года, которую я видела однажды; тем вечно живым человеком с серым лицом, который скло-

нился над телами расстрелянных жены и дочери где-то в Смоленске, Минске, Вязьме, Гжатске или Ржеве.

Эти слова означают, что реальность уцелела. Снег, двадцатиградусные морозы зимы сорок первого, русские военнопленные, согнанные за колючую проволоку и оставленные умирать от голода и холода, ад Сталинграда, тридцать разрушенных городов, семь миллионов павших лошадей, семнадцать миллионов коров, двадцать миллионов свиней. Вслед за словами поднимаются образы: дома, от которых остались лишь голые стены да печные трубы, искореженные морозом тела, лица воющих от боли людей. Вот он, сухой остаток, то, к чему пришла в итоге история, вот он, язык войны.

Но есть и другой язык — плод дикой фантазии, дымовая завеса лжи — птичий язык генералов и политиков: план Барбаросса с вагнеровскими заклинательными интонациями, операции «Подснежник», «Гиацинт», «Нарцисс» и «Тюльпан» в сказочном танце двигались по направлению к Тобруку.[67] Этот язык я слышала в Каире из уст головорезов Восьмой армии — сухие упо-

---

[67] Примечания: 67
Город в Ливии на побережье Средиземного моря.

минания про «миляг» и «матильд», стыдливо замаскированные тонны споро передвигающегося убийственного железа, гладкие эвфемизмы, из которых, следовало, что эти штуковины, будучи подбиты, не взрываются (поджаривая в своей утробе весь экипаж), а «стопорятся» Это была увеселительная прогулка, в которой люди не гибнут, а загибаются, не получают пулю, а «ловят» ее. Странность эта становится понятна годы спустя; тогда же в ней не было ничего необычного, от нее не коробило. Я занималась словами, но времени вникать в их смысл — во всяком случае, скрытый, — у меня не было.

Штабные сводки, сообщения пресс-атташе, мои собственные депеши, отбарабаненные на портативной пишущей машинке «Империал», которую я храню до сих пор. С этими словами мне приходилось тогда иметь дело — сейчас же они выглядят анахронизмами, их вытеснили новый жаргон, новая маскировка. С тех пор я живу в мире массового поражения, ответных ударов и негативного потенциала — эти смутные кодовые обозначения застят картины будущих войн… или даже будущей последней войны. Значения — как пейзаж: рождаются и умирают, место разрушенных зданий занимают вновь построенные,

и сквозь остовы «Матильд», «миляг» и «крестоносцев» сыплется труха.

Навещая послевоенный Каир, я замечала, как прошлое просвечивает сквозь настоящее, словно мираж. «Хилтоны» и «Шератоны» были вполне себе настоящими — типичный многолюдный и шумный, наспех построенный, серовато-коричневый город. Но в голове у меня прятался иной образ, и появлялся, словно по волшебству, вместе с запахами навоза, керосина, легким цоканьем подкованных ослиных копыт по мостовой, воздушными змеями в темно-голубом небе, вычурным изяществом арабской вязи.

Место было другим, но ощущения остались теми же, они захватили и оглушили меня. Я остановилась возле какой-то бетонной башни с зеркальными стеклами, сорвала пригоршню листьев с ветки эвкалипта, смяла их в руке, поднесла к лицу — и на глаза мне навернулись слезы. Шестидесятисемилетняя Клаудия на тротуаре, запруженном занятыми шопингом немолодыми американками, плакала не от горя, а от удивления, что ничего не заканчивается, и все может быть пережито заново, и что жизнь не убегает вдаль нескончаемой прямой, а остается такой, какая она есть. Всегда. И что в сознании человека

все совершается одновременно.

Терраса в «Шепхерд-отеле» заполнена под завязку. Ни одного свободного места, и возле каждого столика — от трех до пяти стульев, отдельный маленький кружок; в воздухе — многоголосие и многоязычие. Официанты изящно движутся между столами с полными напитков подносами, за ними осторожно пробирается Клаудия. Она спешит, не обращает внимания на заигрывания двух подвыпивших южноафриканцев и пристальный взгляд французского офицера из Армии Сопротивления, не отвечает на приглашения присоединиться к друзьям за одним столиком и знакомым — за другим. Она знает многих из собравшихся здесь и многое может понять по одежде и речи о тех, кто ей незнаком. Каждый несет на себе печать национальности, вероисповедания и рода деятельности.

Это же Средние века, думает она, почему мне никогда не приходило это в голову? В глаза ей бросаются золотое шитье на рукавах морского офицера, фуражка с алой каймой, которую держит небрежно перевернутой на коленях бригаду генерал, сдвинувшиеся красные фески за соседним столиком. Отменная средневековая сцена из городской жизни образца тысяча девятьсот сорок

пятого года, структурированный мир, в котором с первого взгляда понятно, кто есть кто. Вот две сефардские еврейки средних лет, вот офицер из сикхов, а там заседает троица из лондонского предместья. Этот мужчина умеет летать на самолете, тот знает, как вести в бой танки, а эта девушка сможет сделать перевязку. А вон там, если не ошибаюсь, сидит парень, который сможет подбросить меня к самой линий фронта… если только мне удастся его уговорить.

Она улыбается лоснящимися — по моде тех времен — от помады губами. Она подходит к его столику — подтянутая, в белом льняном костюме, с медно-рыжими волосами, в красных босоножках на высоком каблуке, с открытыми загорелыми ногами. Он поднимается, подставляет ей стул, подзывает щелчком официантку. И окидывает оценивающим взглядом ее ноги, волосы и все прочие детали облика, не слишком типичного для женщины-репортера.

По крайней мере, остается предположить, что он именно оценивал, поскольку позже он попытался заполучить меня в постель — в качестве платы за место на своем транспортном самолете, который на следующий день вылетал в пустыню. Я не заплатила требуемую цену — или заплатила

отчасти, — но место в самолете получила. Я понятия не имела, как его зовут, смутно запомнились рыжеватые усы и загоревшее до черноты выдубленное лицо, такое, как у всех у них. Он пришел и ушел — обычный артиллерист, оказавшийся рядом, когда был нужен транспорт, — хотя он, конечно, сыграл свою жизненно важную роль, ведь без него я бы не попала в Киренаику, не оказалась бы в грузовике, который затем сломался в какой-то глуши, и мне не пришли бы на помощь двое офицеров на джипе, один из которых…

Да, я бы тогда не испытала необъятного счастья на террасе Зимнего дворца в Луксоре… и не горевала бы так, лежа на кровати в госпитале Гезиры — коротко говоря, не стала бы той, кем стала. И первый вольнодумец среди историков — каковым, быть может, являюсь я — не станет отрицать того, что в прошлом можно вычленить некие бесспорные основные события. Так и в жизни — в ней есть ядро, есть некий центр.

Сейчас мы наконец приблизились к нему.

Я приехала в Египет одна, в 1940 году. В 1944-м я, также одна, оттуда уехала. Оглядываюсь я на эти годы наедине с собой. Случившееся существует только в моей голове — никто более не видал тех же картин, не слыхал тех же звуков, не наблюдал

ту же последовательность событий. Из прошлого доносится еще один голос, но его слышу только я. Я — мы — единственные свидетели.

Единственное частное свидетельство — вот оно как. Когда дело касается общественной истории, таковых оказывается множество. Большинство из них сейчас уже опубликовано — все эти расчеты, какой генерал лучше справился со своим делом, у кого было сколько танков, кто когда какую позицию занял и почему. Все это я читала, и нашла очень мало общего с тем, что помнила. Время от времени меня ставят в тупик имя или дата — я просто не понимаю, откуда они взялись, что, конечно, странно для человека, который сам пишет исторические книги. Я уделяла достаточно внимания изучению последовательности событий — ведь мне предстояло скупо и достоверно телеграфировать факты. Если бы я не гналась за событиями, не разузнавала о происходящем, всеми силами набиваясь в свидетели, нечего было бы телеграфировать, и депеша из Лондона поставила бы под сомнение обоснованность моего пребывания на Ближнем Востоке. Но сейчас это обстоятельство так же не актуально, как военный жаргон того времени, как барочные дома старого Каира, вытесненные офисными здания-

ми и небоскребами.

Гордон говорил, что я никогда не была настоящим военным корреспондентом. Засим, конечно, следовало разъяснение, почему это так. Прежде всего, с его точки зрения, я не была достаточно компетентна. Мне пришлось пробиваться так, как прежде никогда не приходилось, я тянула за все нити о каких могла вспомнить, отлавливала каждого, с кем встречалась хоть раз, и кто, теоретически, мог мне помочь, чтобы наконец меня взяли внештатником в воскресную газету и корреспондентом в один из еженедельников. Я боролась за эту работу изо всех сил, и ни в одной из этих газет мне не платили достаточно. Чтобы хватило на жизнь в Каире, я взяла денег из бабушкиного наследства. И все время мне надлежало изображать смирение перед редакторами в Лондоне, перед моими коллегами-мужчинами из корпусного пресс-центра. Отношение ко мне измерялось по каждому посланному мной материалу. Но материал был хорош. Конечно, я не упускала случая продублировать информацию Гордону, — чтобы сказать: смотри, я же говорила… Бывало, мои письма находили его месяцы спустя, где-нибудь на учениях в шотландских топях или в Индии, и он писал мне ответ, также

спустя несколько месяцев. Мы словно вели с ним разговор с затянувшимися паузами между репликами, исправляя погрешности стиля. Мы продолжали перебраниваться уже с разных континентов — довольно, впрочем, добродушно. Я не видела его более четырех лет, и за это время мы оба пережили второе рождение. Мы встретились на платформе вокзала Виктория, и он сказал: «Господи, ты покрасила волосы! Я и не представлял, что они такие рыжие. Мне они вспоминались скорее темно-русыми». Мы не поцеловались, мы стояли и смотрели друг на друга. Я сказала: «Отчего у тебя этот след на щеке?» — «Подцепил в Дели какую-то неприятную кожную болезнь. Моя боевая рана. А где твои?» Я не ответила.

Гордон служил в разведке, и этим все сказано. Большую часть войны он провел в штабе, время от времени совершая вылазки в самые вредные для здоровья места. Мы стали искать, что сходного случилось с нами за эти годы. Однажды Гордон сказал: «Я встретил парня, который видел тебя в Египте. Он сказал, что встретил тебя в гостинице в Луксоре. Ты и какой-то твой приятель в военной форме пригласили его выпить». Я ответила: «Думаю, это было в "Зимнем дворце"». — «А кто был тот приятель?» — «В то время в окрестностях

Каира базировались две-три тысячи бойцов, — отвечала я, — попробуй угадать».

Ну конечно, это было в «Зимнем дворце». Сомневаюсь, что там были еще какие-то гостиницы. Мы с Томом приехали ночным поездом из Каира, причем все спальные места были раскуплены, и нам пришлось всю эту жаркую бегущую по рельсам ночь просидеть, прижавшись бедро к бедру, в одном купе с медсестрами, ехавшими из военного госпиталя в Гелиополисе, и католическим священником, который все пытался организовать партию в вист. Наконец они все заснули, и тут начался рассвет — прозрачная, яркая пустынная заря. Не спали только мы, и только мы видели, как холмы на том берегу Нила из розовых стали янтарными, а вода приобрела сапфировый оттенок. На склонившихся над водой деревьях сидели, нахохлившись, большие белые цапли и цапли поменьше, черный ибис застыл на песчаном откосе как изваяние.

Возделанная полоска земли между рекой и пустыней шириной примерно с милю, ярко зеленела клевером или сочным высоким сахарным тростником, в ней копошилась жизнь — босоно-

гие феллахи[68] с зажатыми между бедер полами галабий,[69] крошечные дети в ярких платьицах — алых, малиново и лимонно-желтых, вереницы верблюдов, ослов и буйвола. И все вокруг слегка колыхалось — зеленовато-серые пушистые пальмы с искривленными, похожими на змеиную кожу стволами вздымались и опадали с дуновениями легкого пустынного ветра. Мы сидели, держась за руки, и смотрели в окно — это было все равно что вместе смотреть на картину — возможно, на одно из тех насыщенных деталями полотен Брейгеля, где каждый занят своим делом: собака задрала лапу, кот дремлет на солнышке, дитя играет, — одна из тех картин, которые кажутся нам застывшими мгновениями прошлого, Я сказала, что никто никогда не замечает эти места. Не видит их такими, какие они есть. Для нас это всего лишь декорации. «Это красивая страна, — сказала я, — а мы этого не видим».

И он ответил: «Мы всегда будем это видеть».

Мы добрались до Луксора, кое-как отвязались от заполонивших платформу толмачей, а также

---

[68] Примечания: 68

Крестьянин (араб.).

[69] Примечания: 69

Просторный халат из хлопка, традиционная арабская мужская одежда.

торговцев скарабеями, ужас наводящими черными головами Рамзеса Второго, мухобойками и прочим скарбом, — и сняли комнату в «Зимнем дворце». Мы легли в постель и оставались там почти до вечера. Мы лежали на кровати обнаженные, между полосками жалюзи пробивалось полуденное солнце; я никогда и не думала, что можно столько раз заниматься любовью. У него был пятидневный отпуск. Все началось с его голоса в телефонной трубке, когда он спросил, смогу ли я выбраться на продолжительный уик-энд. Он только что вернулся с фронта, и на следующей неделе вновь собирался туда. Ну, или туда, где к тому времени будет фронт — случайное скопление минных полей и военной техники посреди безразличной ко всему пустыни. Он однажды говорил мне, что эти военные действия больше напоминают бои на море, чем на суше, — из-за всех сложных маневров, то атак, то отступлений, когда можно полагаться только на самих себя и ни в коем случае не на окружающий мир. В нем не было ничего, что могло воспрепятствовать сражению — ни городов, ни деревень, ни людей, — и ничего осязаемого, что можно было бы удерживать или завоевывать. Сражаться приходилось за едва различимый каменистый холмик,

за координату на карте. Там, в пустыне, внезапно очутилось несколько сотен или тысяч вооруженных мужчин, но она по-прежнему оставалась пустыней. Он рассказывал о ней так, словно пустыня была доской для настольной игры, где фишки соперников переходили с квадрата на квадрат. Я использовала этот образ в своем материале и получила из Лондона лестный отзыв. Я сказала ему, что мне следовало бы открыть ему кредит, и он ответил, что это подождет до конца войны.

Наконец в наступающих сумерках мы встали, оделись и спустились на террасу, обращенную к Нилу. Может быть, тогда-то я и разговаривала со знакомцем Гордона. Если это так, то сейчас его уже нет: от того вечера остались только длинный пологий желто-коричневый холм над Долиной царей да гаснущее в золотисто-розовой и бирюзовой дымке солнце. Да еще мягкие звуки вечернего Египта: позвякивают в бокалах кубики люда, шлепанцы официантов ступают по каменным плитам, негромкий гул голосов, смех — все это можно услышать в какой угодно вечер в любом другом месте — в спортивном или скаковом клубе Гезиры, в «Шепхерд-отеле». Но тот вечер, и следующий за ним, и следующий остаются

вещью в себе, в закрытом уголке моей памяти. Я помню, что сидела на плетеном стуле, и что узор плетения отпечатался на моем теле сквозь легкую ткань платья; помню, что смотрела на реку, на белые опавшие паруса фелюг и закатное небо, в котором начинали мерцать особенные, яркие звезды пустыни. Я помню, какой ощущала себя тогда — богатой, счастливой, более живой, чем когда бы то ни было. Ощущение и место — вот что нам остается. Для тех моих воспоминаний не существует ни последовательности, ни хронологии: я не могу вспомнить, когда мы ездили в Карнак, к Колоссу, к гробницам — все это происходила словно бы в тумане. Время растворилось и застыло, словно на картине Брейгеля, словно рисунки на стенах гробниц, где летят, идут и плывут те же гуси, утки, коровы, рыбы, что по сей день населяют Нил и его окрестности.

— Фараон, — значительно повторяет гид, — вы смотреть, где фараон приносить жертва своим боги и богини. Вы смотреть священный анх.[70] Вы смотреть жена фараона. Жена фараона — сестра фараона. Он вступать в брак со своя сестра.

Публика выказывает тень интереса. Жара сто-

---

[70] Примечания: 70

Крест, увенчанный кольцом, древнеегипетский символ неиссякаемой жизни.

ит немилосердная, и дышать в гробнице почти нечем.

— Инцест, — произносит полковой священник, — похоже, в то время он был в порядке вещей.

Две девушки-телефонистки объявляют, что умрут, если пробудут здесь еще хотя бы минуту.

— В таком случае, Мустафа, нам надо поторопиться, не так ли? — спрашивает священник.

Маленькая процессия бредет по освещенному факелами сумрачному песчаному коридору.

Клаудия не торопится. Она смотрит на юношески стройную фигуру фараона и его изящную супругу с темными миндалевидными глазами и высокой грудью.

— Славная пара, — говорит Том.

— Да.

Свет от факела Тома выхватывает упряжку буйволов, рабов, которые несут убитых газелей, утку, выпархивающую из камышей.

— Давай-ка еще посмотрим, — говорит Клаудия. Свет факела колеблется и скачет. — Она хорошенькая. А твоя сестра красива?

— Дженнифер? Господи, никогда об этом не думал. Да, наверное, — он засмеялся, — но этот аспект меня не интересует.

Он обнимает ее за плечи.

— Пожалуйста, вы торопиться, — доносится из темного коридора голос их провожатого, — дамы и господа... пожалуйста, торопиться.

Клаудия не отрывает взгляда от великолепной неуязвимой пары — вечно молодой и неразлучной.

— О чем ты думаешь? — спрашивает он.

— Так... ни о чем.

Он обнимает ее за плечи, она чувствует жар его груди. Ее охватывает такая истома, что она вполне могла бы снять сейчас с себя всю одежду и лечь прямо в пыль. Он поворачивает ее к себе и целует, его язык находит ее рот.

Весь тот год, что я пробыла там, эта страна представлялась мне лишь фоном. Зной, пыль и запахи, обступившие меня, казались случайной декорацией к такому значительному делу, как война. Вы примиряетесь с неудобствами, препонами и опасностью и живете тем, что имеет наибольшее значение.

Британская армия наложила отпечаток своего присутствия на природу и социум: грузовики загромождали дороги складские помещения замусорили дельту Нила, на улицах и в кафе Каира зазвучала английская речь. Среди мечетей и во-

сточных базаров, пирамид и крепостей слышался говор Ланкашира и Дорсета, Ист-Энда, Итона и Винчестера. Каир, этот многонациональный полиглот, вобрал в себя перемены и вроде бы даже не заметил их. В чем-то он обратил сложившиеся обстоятельства в свою пользу, в чем-то остался таким, каким был всегда. Богатые богатели, бедняки по-прежнему копались в речном иле, делали топливо из буйволового помета и попрошайничали на улицах.

Возможно, впервые я заметила это тогда, в Луксоре. По крайней мере, сегодня мне так кажется. Внезапно я увидела красоту этого мира, увидела напряженную, суматошную жизнь полей и деревень, воды и пыли, листвы и соломы, людей и животных. Я почувствовала осязаемую безмерность и неизменность пустыни — ветра, разрисовывающего пески, и сияющих миражей. В ней была нежность акварели — мягкие серо-зеленые тона, приглушенный синий, оттенки золотого и коричневого. В ней были красота и равнодушие: присмотревшись, вы начинали замечать язвочки вокруг рта у детей, мух, наползающих на незрячие глаза младенцев, иссеченную в кровь ослиную спину.

Я постигала все это через него и вместе с ним.

Теперь он и это место для меня одно целое, в памяти слились его прикосновения и голос, картины и запахи.

Перед рассветом она лежит в постели и не спит. Рядом на столике — «лунный тигр». «Лунный тигр» — зеленая спираль, которая тлеет всю ночь, отгоняя комаров и осыпаясь серым пеплом. Его алый глаз — постоянный спутник горячей, пронизанной комариным звоном тьмы. Она лежит, ни о чем не думая, — она просто есть. Еще один дюйм «лунного тигра» плавно опускается на блюдце. Том двигает рукой.

— Ты не спишь? — шепчет Клаудия.

— Нет.

— Надо было сказать. Мы могли бы поговорить.

Он кладет руку на ее бедро:

— О чем?

— О том, на что вечно не хватает времени. Обо всем.

— Мы провели вместе около пятидесяти часов. С тех пор, как познакомились.

— Сорок два.

— Ты считала?

— Конечно.

Тишина.

— Я люблю тебя, — говорит он.

— Да, — говорит Клаудия. — Я тоже. В смысле, тоже тебя люблю. Давай разговаривать. Расскажи мне про все.

— Отлично. Что именно — все? Ты хочешь знать, как я отношусь к Олдосу Хаксли? Или к Лиге Наций? У нас наверняка найдется, о чем поспорить… я знаю, ты это любишь.

— Потом. Давай расскажем друг другу о себе, сейчас мне хочется только этого.

— Мне тоже.

Он берет ее руку. Они лежат рядом. Как фигуры в гробнице, приходит на ум Клаудии. «Лунный тигр» тлеет, источая легкий дым, за окном — жаркий черный бархат ночи, река и пустыня.

Том зажигает сигарету. Теперь в темноте светятся два красных глаза — «лунный тигр» и «Кэмел».

— Люди, когда они знакомятся так, как мы, всегда считают свой случай особенным. Одно и то же… что мы могли никогда не встретиться.

— Родственные души, — подхватывает Клаудия, — дети бури.

— Вот именно. Ведь как получается. Нас с тобой свел Гитлер. Ничего себе мысль.

— Обойдемся без таких мыслей. Поищем что-

нибудь подостойнее. Жизнь. Судьба. В этом духе.

Некоторое время они лежат молча.

— Начни ты, — говорит Том, — я же почти ничего о тебе не знаю. Ты умеешь играть на пианино? А где научилась говорить по-французски? И почему у тебя на колене шрам?

— Нет, это скучно. Не хочу рассказывать. Хочу, чтоб ты со мной нянчился. Хочу лежать вот так, рядом с тобой, всю жизнь и слушать, как говоришь ты. И чтобы так заснуть. Расскажи мне какую-нибудь историю.

— Я не знаю никаких историй. Такой уж я, начисто лишен воображения. Разве что про себя самого.

— Вот и отлично.

— Ну, если ты хочешь… Это очень заурядная история. Родился неподалеку от Лондона, семья не богата, но и не бедствовала. Отец — директор школы, мать… Детство омрачали только тщательно скрываемый страх перед большими собаками и опека старшей сестры. Школьные годы отмечены неумением построить латинское предложение и несовместимостью с крикетной битой. Юность… что же, юность приобретает уже некоторый интерес, наш герой отчасти преодолевает апатию, эгоцентризм и интроверсию…

начинает обращать хоть какое-то внимание на других людей и, натурально, выказывает слабооформленные идеалистические стремления изменить мир и тому подобное.

— Ох, — вздыхает Клаудия, — значит, ты из этих..

— Из этих. Ты осуждаешь?

— Ну что ты, конечно же нет. Продолжай. И что же ты делал?

— Ну, всякие обычные наивные вещи. Вступал в достойные организации. Участвовал в политических митингах. Читал книги. Говорил ночь напролет с друзьями, которых интересовало то же, что и меня.

— Наивные, говоришь? Что же тут наивного? Я бы сказала, что ты действовал как прагматик.

— Тс-с… это же моя история, я сам решаю, как ее рассказывать. Редакторы имеют право на примечания. Ну так вот… Приступ юношеской самоотверженности во имя общества оформился в должность репортера в одной северной провинциальной газете… ты бывала на северо-востоке в период Великой депрессии?

Клаудия пытается вспомнить.

— Если ты не отвечаешь сразу, значит, не была. Это невозможно забыть, поверь. Гемпшир так

до сих пор и не оправился. Короче говоря, после увольнения, стоя в очереди за пособием по безработице, я решил, что единственная стоящая карьера — политика. В двадцать три года это казалось совершенно естественным, навести порядок в мире на счет раз не представляло труда — была бы возможность. Я погрузился в это дело с головой, у меня была и своя программа — образование, равные возможности, социальное благосостояние, перераспределение доходов.

— Ну и как? — спрашивает Клаудия. — Почему же…

— Не сработало? Потому что, как мы с тобой оба знаем, природа вещей не такова. Наш незадачливый герой оставил честолюбивые помыслы и огляделся вокруг в поисках чего-то нового. На то, чтобы повзрослеть и набраться немного — или много — ума, ушел год или два. На деле же он осознал, что является несведущей посредственностью, а для того, чтобы одержать верх над противниками, необходимы аргументы. Так что я решил рот держать закрытым, а глаза и уши — открытыми. Тетя оставила мне маленькое наследство, и я потратил его на билет до Америки. Погляжу на страну свободы, думал я. Поучусь чему-нибудь. Буду смотреть и слушать. Напишу

статью-другую и подзаработаю. Так я и сделал. И вернулся еще старше и умнее.

— Ну-ка, ну-ка, — говорит Клаудия, — ты пропускаешь существенные перипетии сюжета.

— Я знаю. Нет на все это времени. Как-нибудь в другой раз. А пока только фабула. Америка. Средний Запад. Юг. Снова в поле зрения пороки общества, но отношение к ним уже более взвешенное. Журналистика. Трезвые, продуманные статьи. Некоторые имели успех.

— Тебе стоило заняться тем же, что делаю я, — говорит Клаудия. — Правда, почему ты не?..

— Не забегай вперед, пожалуйста. До этого мы еще не добрались. Нацисты тогда воспринимались как назойливый шум по другую сторону Ла-Манша. А наш герой начал получать удовольствие от роли путешественника.

— Перестань говорит «наш герой», — прерывает Клаудия, — прямо как в рассказах из детских журналов.

— До чего же ты начитанная девочка. Я-то надеялся, что ты не обратишь на это внимания. Как я уже сказал, мне понравилось путешествовать. Я писал о бедственном положении греческого крестьянства и крючкотворстве итальянских политиков, а когда этим не удавалось прокор-

миться, подряжался туристическим агентом Я тогда объехал большую часть Европы. Раз побывал в России. Начал подумывать об Африке — видишь, как мечты иногда сбываются? А между тем назойливый шум по другую сторону Ла-Манша становился все слышнее. И теперь уже определенно действовал на нервы.

— Да, — говорит Клаудия, — можно мне вставить слово?

— А я думал, ты хочешь, чтобы я рассказывал.

— Так оно и есть. Но ты упустил кое-что интересное.

— Думаю, все что угодно может оказаться интересным… с той или иной точки зрения.

— Верно, — соглашается Клаудия. — Но твоему повествованию не хватает личностного отношения. Ты умалчиваешь о том, что чувствовал. И о том, — добавляет она небрежно, — был ли ты все это время один или с кем-то.

— Ага, — говорит он, — теперь я понял. Попробую исправиться. Объясню, почему так мало этого самого личностного отношения. Все это время наш герой… прости, все это время я носился с грандиозными идеями общественного переустройства, соответствия духу времени и так далее и тому подобное. Я старался мыслить

абстрактно… сейчас я понимаю, что это была роскошь, которую я тогда мог себе позволить. Но позволь уверить тебя, — он скользнул рукой по ее обнаженному телу, — поверь, что с тех пор многое переменилось. Нельзя соответствовать времени… в том смысле, что ты никогда не знаешь, что именно пробудит в тебе личностное отношение. С меня довольно. Смотри-ка, начинает светать. Ты узнала все, что хотела? — Он поворачивается к ней.

— Не совсем, — говорит Клаудия, — ты не сказал…

— Один, — отвечает он. — До сих пор. Но теперь, я думаю, с этим покончено.

Он обводит пальцем овал ее лица. В занимающемся свете Клаудия видит его глаза, нос, губы.

— Это место в твоем рассказе нравится мне больше всего, — говорит она.

— Мне тоже. О, мне тоже.

Господи, думает Клаудия, Господи, ну может же быть все хорошо, ну пожалуйста, пусть все будет хорошо. «Лунный тигр» почти догорел, на месте зеленой спирали образовал серая — из пепла. Сквозь жалюзи пробивается солнце. Действительность вступает в свои права.

7

Я не могу писать о Египте в соответствии с хронологией. Что такое Древний Египет? Так называемый Древний Египет. В моей истории мира конкретной и изменчивой, словно узоры калейдоскопа, — Египту отведена роль благодушной и неуничтожимой силы, которая обрела бессмертие, разнеся по музеям земного шара свои резные надгробья, раскрашенный алебастр, папирусные свитки, гранитные плиты, золотые украшения, ляпис-лазурь, черепки и дощечки. Если исходить из актуальности, Египет — не прошлое, а настоящее. Образ Сфинкса знаком даже тем, кто слыхом, не слыхивал о династиях и фараонах; монументальность Карнака также близка людям, выросшим на архитектуре тридцатых.

Как любой другой человек, я кое-что знала о Египте до того, как приехала туда. Когда я думаю об этом сейчас — когда я думаю, каким мне надлежит представить Египет в моей истории мира, — я прихожу к мысли, что это непреходящий феномен, земля фараонов в двадцатом веке, колесницы и цветы лотоса, Хор, Ра и Изида в со-

седстве с мечетями мамелюков, многоголосие на улочках Каира, плотина Насера, патрули в хаки, эдвардианская пышность турецких особняков. Прошлое и настоящее в долине Нила не столько переплетаются, сколько перестают быть оппозицией. То, что было скрыто под песком, выходит наружу — речь не только о сувенирах, которые азартно хватают последователи расхитителей гробниц. Нет, я о нарочитой цикличности всего окружающего: солнце поднимается из пустыни на востоке и опускается в пустыню на западе, река разливается каждую весну, родятся все новые поколения цапель и прочих пернатых тварей, тянутся вереницы вьючных животных и терпеливо принимают все невзгоды земледельцы.

Несколько лет назад в Рамзес-Хилтоне я встретила человека, который оказался крупнейшим в мире дистрибьютором сливных бачков. По крайней мере, так он представился. Уроженец Среднего Запада в преддверии выхода на пенсию, один из тех вольных как ветер, но страдающих от возрастных болячек американцев, которые колесят по свету от Дублина до Сингапура. Так вот, этот человек, не имея спутницы, принял меня за женщину определенного сорта и решил завязать со мной знакомство. «Не понимаю я этих

ребят, — заявил он, усаживаясь на легкое сиденье высокого табурета рядом с моим местом у барной стойки, — разрешите вас угостить. Не то, как они строили — хотя это, конечно, что-то, можете мне поверить. Но вот — зачем? Просто, типа, готовились к похоронам?» Я разрешила ему взять мне виски и спросила, боится ли он смерти. «Ясное дело. Этого все боятся». — «Египтяне не боялись. Для них было важно обеспечить сохранность духа… или души, как вам угодно. Не то чтобы они одни этим занимались, но мы в наши дни, пожалуй, утратили к этому интерес». Он посмотрел на меня подозрительно, явно жалея о заказанном виски и недоумевая, с кем это его угораздило сесть рядом. «Вы профессор или что-нибудь типа того?» — «Нет. Я туристка, как и вы. А чем вы занимаетесь?» И тут он мне рассказал про сливные бачки, и между нами завязалась не дружба, а что-то вроде странного союза, потому что он был здравомыслящим, порядочным и довольно любознательным человеком, которому хотелось с кем-то поговорить, а я была не одинока — мне никогда не бывает одиноко, — но одна. Так что это в его неожиданной компании я сорок лет спустя второй раз побывала в Луксоре, Долине царей, Эсне и Эдфу. А также у пирамид, в крепости и на

берегу Нила, у моста Каср-эль-Нил, где стоял собор Святого Георгия, в котором я однажды молилась. Теперь на его месте была эстакада, по которой с ревом мчался неиссякаемый транспортный поток Каира. Сегодня он не там и не здесь, этот американец (я даже имени его не помню), словно тот артиллерист на террасе «Шепхерд-отеля», но и его история навсегда связана с определенным временем и местом. Его жизнь — какой бы она ни была — на короткое время пересеклась с моей. В его жизни и моей была крепостная стена, перед которой мы стояли, запрокинув головы и щуря глаза от ярчайшего света небесного, а вырезанные на камне замысловатые сцены постепенно становились тем, чем на самом деле являлись, — хроникой кровопролития. Полуголые воины обезглавливались, пронзались копьями, попадали под колесницы. Такими картинами на высоте двадцати или тридцати футов были разрисованы все стены. Гид объяснил, что это не просто хроника, но и восхваление побед фараона. И действительно, вот он, фараон, ростом в несколько раз больше, чем любой из его подданных, с привычной легкостью правит колесницей: в одной руке поводья, в другой — оружие. Вокруг лежат тела убитых. «Суровый мужик», — комментиру-

ет мой компаньон. «Я слышала, он считался не только властителем, но и богом. Это ничего, что он вот так едет среди трупов? Как это соотносится с его саном?» — спрашиваю я. Гид объясняет, что каждое обезглавленное тело — это единица учета, символизирует тысячу или, может быть, десятки тысяч поверженных врагов. «Господи, — говорит американец, — ну и бойня. Я думал, им и так-то жилось хреново, а тут еще эдакая мясорубка». Мы стоим и молча созерцаем эту сцену массового убийства. «Я в сорок четвертом был во Франции, — говорит американец. — Сам я никогда не видал боев, но что после них остается — видал. Картинка не для слабонервных, скажу я вам». Я умолчала о том, что ему не было нужды говорить мне это.

Тянется и тянется бесконечная мусорная свалка, словно какой-то неряшливый великан набросал эти километры обгоревших металлических каркасов, охапки старых шин, пустые канистры, ржавые банки и листы железа, мотки колючей проволоки, стреляные гильзы. Весь этот мусор лежит посреди пустыни, которая и сама по себе не является образцом порядка и от горизонта до горизонта испещрена пятнами чахлого неживого кустарничка. Свободна только колея,

по которой движутся то грузовики, то бронированная техника — «Железное шоссе» с разметкой из пустых канистр.

По этой дороге они едут уже два часа. В принципе, колея может и затеряться среди перепутанных следов и невнятных указателей, и, когда возникает такая угроза, водитель — низкорослый поджарый лондонец, чья кожа от загара приняла оттенок жженого сахара, — полагается на карты и на удачу. До войны он, как выяснилось, водил такси, и с пустыней обращается запанибрата, словно это очередной диковинный выверт лондонской топографии. Завидев другую машину, он выкрикивает вопросы и разъяснения относительно нас. Тут все ищут кого-то или что-то. Мы находимся в эпицентре последнего боя, во время которого рассеялись и люди, и техника, и сейчас тысячи людей вокруг нас пытаются воссоздать некое подобие порядка.

Клаудия сидит рядом с водителем Джим Чемберс из «Ассошиэйтед ньюс» сзади, вместе с новозеландским корреспондентом. Им приходится кричать, чтобы за ревом мотора можно было разобрать слова. Клаудии кажется, что во всем ее теле не осталось целой косточки, глаза покраснели и слезятся от пыли. Водитель, взявший под

опеку необычную пассажирку, велел ей обмотать шею шарфом, чтобы избежать появления пустынных язв.

Они направляются в расположение Седьмой танковой дивизии, и водитель хочет во что бы то ни стало добраться туда до заката. Они уже один раз выбрали неправильный путь и трижды застревали в песке, случайно вырулив с колеи. Когда это случалось, водитель чертыхался, выскакивал из грузовика, вытаскивал мешки, и все приступали к тяжкому, изнурительному откапыванию.

Он показывает им танк: «Вон один "Джерри".[71] Застопорился после первого же попадания. Не желаете взглянуть, мисс?»

Они выбираются из грузовика и подходят к танку — почерневшей, дурно пахнущей громаде. Он накренился, с одной стороны его занесло песком, а вокруг разбросан мелкий бытовой хлам — смятая консервная банка, поддуваемые ветром лохмотья почтовой бумаги, пакет печенья, из которого течет аккуратный черный ручеек муравьев. Джим Чемберс делает несколько снимков.

Нарастающий гул. Над головой проносятся

---

[71] Примечания: 71
Германский танк.

самолеты — транспортные и истребители, — все небо содрогается. Из-за горизонта доносятся глухие раскаты, он оправлен в серебро трассирующих снарядов, драгоценными камнями вспыхивают над ним сигнальные ракеты. Отовсюду тянет дымом. От подбитой техники по ветру стелятся серые клубы, на горизонте с каждым глухим ударом появляется белое облачко, над взорванным вражеским складом боеприпасов громоздится черная башня. Дым перемешивается с пылью, и за каждым грузовиком, автомобилем или мотоциклом тянется желтовато-коричневый шлейф. Вдалеке видна колонна грузовиков, окутанных пылью настолько, что их очертания приводят на ум другую местность и другое время — крытые повозки первых поселенцев в прериях. А когда поблизости вздымается пыль и накрывает облаком танки, они также становятся совсем другими, похожими на капитанские мостики кораблей, бороздящих океан, украшенные яркими флагами.

«Перекур, — кричит водитель, — надо слазить на разведку». Они карабкаются на пригорок, на вершине которого обнаруживается орудийный окоп с маскировочной сеткой и прохудившимися мешками с песком. Удобное укрытие от ветра,

который начинает крепчать. В канистре с пропитанным бензином песком разводится огонь, в подобранной тут же жестяной банке закипает чай. «Не хотите ли, мисс?» Клаудия пьет чай и смотрит поверх мешков с песком на равнину, по которой они только что шли. Она гадает, кто еще недавно сидел на том же самом месте, где сейчас она, и собирался убить другого человека. Немного раньше они прошли мимо трех крестов, выстроившихся возле обгоревшего остова грузовика. На один из них была надета каска, а на перекладине карандашом написано: «Ефрейтор Джон Уилсон, погиб при выполнении боевого задания».

Водитель решает, что надвигается хренова песчаная буря («Прошу прощения за свой французский, мисс»). Они влезают в грузовик и, съехав с пригорка, катят по пустыне, а один, уже виденный ими прежде пейзаж сменяет другой, также виденный. Колея становится почти незаметной, но водитель ориентируется на отдаленные темные очертания какой-то техники. Когда они подъезжают поближе, выясняется, что это грузовики Красного Креста возле подбитого танка. На носилках лежит перевязочный пакет, санитары карабкаются на танк. Водитель останавливается, выпрыгивает из кабины, за ним

идут Джим Чемберс и новозеландец. «На твоем месте, подруга, я бы остался», — говорит Джим Чемберс Клаудии. Она даже не удостаивает его взглядом. Подойдя к танку, Клаудия видит, что санитары вытаскивают то, что некогда было человеком, — красное, черное, с разбитой головой и ослепительно белой расщепленной костью на месте руки. В воздухе стоит запах гари и гниения. Еще двое носилок и перевязочных пакетов лежат в кузове санитарного грузовика. Водитель Красного Креста объясняет их водителю дорогу. Похоже, они сбились с пути. Всю последнюю неделю шли танковые бои, и земля исчерчена их глубокими зубчатыми следами: красноречивое свидетельство того, что здесь происходило.

Они снова забираются в грузовик. Теперь ветер гонит песок, отчетливая ясность окружающего исчезла, горизонт заволокло. Водитель надевает защитные очки и находит еще пару, для Клаудии. Они двинулись в неизвестность, водитель теперь то и дело останавливается и осматривает приметы, но и пустые канистры, и указатели вдруг куда-то исчезли, и они прорезают пустоту, ориентируясь на случайные перепутанные следы шин. Песок поднимается тучами. Мир становится розовым, оранжевым, огненным — в десяти

— пятнадцати ярдах невозможно разглядеть уже ничего.

Они продираются сквозь песчаную бурю. Колея сменилась предательскими песчаными волнами, которые вздымаются и скребут подбрюшье грузовика. Дважды они останавливались и брались за лопаты. Как только они тронулись во второй раз, откуда-то снизу раздался скрежещущий звук, грузовик дернулся и встал. Водитель выскочил из кабины и исчез под ним. Выбравшись, он объявил, что задняя ось, эта чертова задница, переломлена.

Теперь бранятся уже все. Новозеландцу предстоит интервью, которого он уже никогда не возьмет, если к ночи они не окажутся на месте. Водитель, который явно считает, что его главная обязанность — позаботиться о Клаудии, говорит: «Не беспокойтесь, мисс, мы вас доставим». — «Я не беспокоюсь», — отвечает Клаудия. Она не беспокоится. Она снимает крышку портативной пишущей машинки и печатает, сидя в кабине грузовика, в то время как вокруг бушует пустыня — сейчас нежно-розовая, белая, зеленовато-желтая. Джим Чемберс извлекает фляжку с виски. Водитель говорит, что хоть здесь и не так светло по ночам, как на Пиккадилли, но рано или поздно

кто-нибудь их все равно найдет, они не могли далеко уйти в сторону от этой чертовой колеи, и, когда песчаная буря уляжется, они попытаются определить, где оказались. «Как пишется "флуоресцентный"?» — спрашивает Клаудия. «Не выпендривайся, Клаудия», — говорит Джим. Водитель, который уже окончательно без ума от нее, предлагает еще сигарету.

Клаудия печатает. Время от времени она прерывает работу, чтобы смахнуть песок с пишущей машинки. Печатает она отчасти потому, что это ее работа и сейчас есть время, отчасти — чтобы изгнать образ, который запечатлен в ее зрачках. Она пытается излить в словах то, что она видела и о чем думает. Еще она печатает потому, что смертельно устала, хочет пить, плохо себя чувствует и у нее отвратительное настроение. Если она не займет себя чем-нибудь, то может не сдержаться, и потом ей будет стыдно.

В завываниях пустыни проступает другой звук. Что-то большое движется во мраке и внезапно оказывается вездеходом, в котором видны две фигуры. Раздаются окрики с той и с другой стороны. Вездеход приближается, из него выскакивают люди. Это два офицера, один из них — танкист по имени Том Сауверн. Присутствие в грузовике

Клаудии удивляет их и тревожит. Они направляются в штаб-квартиру части и могут подвезти туда двоих. Водитель останется, пока не сможет разобраться в поломке. Джим Чемберс тоже вызвался остаться. Новозеландец угрюмо высказал такое же пожелание. Естественно, и Клаудия тоже. В конце концов, решено, что останется все-таки Джим.

Клаудия взбирается на сиденье вездехода. За рулем Том Сауверн. Буря утихает, уже можно разглядеть очертания пейзажа и найти колею. Она так устала, что не может разговаривать. В какой-то момент она задремала и склонила голову на плечо Сауверна, но тут же почувствовала, как он осторожно, но твердо усаживает ее прямо. Так она и сидит, в полусне и почти ничего не видя, только руку на руле вездехода, загорелую руку, от запястья до пальцев поросшую темными волосами; спустя сорок лет она по-прежнему ясно видит эту руку.

Мое устланное коврами и обложенное подушками возвращение в Египет, с рафинированным осмотром достопримечательностей и отелем «Хилтон», включало в себя и короткую поездку в пустыню. На этот раз ее можно было наблюдать, сидя за тонированным стеклом, в кондицио-

нированном салоне автобуса. Водитель сделал остановку, чтобы пассажиры могли выйти и вдохнуть настоящий воздух пустыни; к тому же здесь был прекрасный вид на пирамиды в Дашуре. «А вы не хотите пройтись?» — спросил мой американский друг. Я покачала головой. «С вами все в порядке? — спросил он заботливо. — Вы за всю дорогу слова не сказали». — «Все отлично, — ответила я, — просто задумалась. Я раньше уже видела пустыню. Выйдите, осмотритесь. Я побуду здесь». — «Ладно, — он поднялся, — когда же вы ее видели, вы что, раньше здесь бывали?» — «Не здесь», — вяло ответила я. Он не допытывался; внимание у него переключалось быстро, ниоткуда появились погонщики верблюдов, и пора было доставать фотоаппарат. Он вышел наружу, а я осталась за тонированным стеклом, сквозь которое я видела свои собственные воспоминания, не утратившие четкости и красок образы иного времени, увязающие в песке танки, сюрреалистические вихри цвета сепии и пятна маскировочной сетки.

Я думала не о Томе, а о себе. О себе не как обо «мне», а как о «ней», неискушенной и неопытной, жившей наугад, вслепую — такой я видела себя сейчас с ужасающей ясностью. Так я чувство-

вала — и так, вероятно, чувствуют все, — если вспомнить решающие моменты прошлого: ночь перед взятием Бастилии, лето 1914 в долине Соммы, осенние дни в Уорикшире перед Гражданской войной. Уже ничего нельзя сделать не остановишь, не отведешь предопределенного. Это история; это то, что должно случиться.

Мой техасец снова забрался в автобус и убрал фотоснаряжение, сохранив для потомства образ некоего мафиозо, сидящего на верблюде с винтовкой а-ля Лоуренс Аравийский в одной руке и ниткой пластмассовых синих бус — в другой. «Вот адское место, как только здесь люди живут!», — прокомментировал он. «Этот человек, — сказала я, — весьма вероятно, живет в Каире, а сюда приезжает на автобусе». Вы думаете? — он с сожалением посмотрел на отбывающего барышника. — «Наверное, вы правы. Я на местный колорит ведусь запросто. Нипочем не отличу, кто жулик, кто нет. Но вас на мякине не проведешь, так ведь, Клаудия?»

Наверное, и я звала его иногда по имени. Эд? Чак? Я не помню. Что я помню — так это двух совершенно разных людей, странный дорожный союз двух посторонних. В каком-то смысле я была рада компании: его невосприимчивость служила

мне щитом. Я долго колебалась, прежде чем предпринять эту поездку, снова и снова откладывала ее, но всегда знала, что в конце концов приеду сюда. И, наконец столкнувшись с миражом, видением иного времени, я с удивлением обнаружила, что этот тягостный призрак — я сама. Не он, не Том. Том тоже был здесь, но — по-другому.

В Замалеке[72] со мной жила еще одна девушка — Камилла, пикантная секретарша из посольства. Камилла была одной из тех разодетых в шелк, благоухающих маркитанток, кто прекрасно себя чувствует во время войны. В другое время ей бы пришлось провести свои молодые годы где-нибудь в английской провинции, гуляя с собаками и изредка наведываясь за развлечениями в ближайший городок. Сейчас же она жила на полную катушку, по утрам печатая пару писем для кого-то, кто когда-то учился вместе с папочкой, а вечером выбирала себе по вкусу офицера из 8-го гусарского полка.

Каир сороковых, изобилующий людьми разноязыкий город, сейчас кажется мне квинтэссенцией этой удивительной страны. Смесь древности и современности видна во всем — в пейзаже, бур-

---

[72] Примечания: 72
Один из жилых районов Каира.

лящей повседневности города, где сошлись все расы, слышны все языки, где греки, турки, копты, евреи, британцы, французы, бедные, богатые, эксплуататоры и угнетенные спешат, задевая друг друга локтями, по пыльным мостовым. Впрочем, мостовые — единственное, что у них есть общего. Я однажды видела, как старуха присела на ступени мечети и умерла — напротив открытой террасы кафе, где ели сласти и мороженое. Мы, европейцы, разъезжаем по улицам на авто или в открытых повозках-гхари; вперемешку с нами движутся тележки, запряженные осликами, велосипеды, тысячи босоногих пешеходов, трамваи, где людей — как пчел в улье. Некоторые из нас сражались в этой войне не на жизнь, а на смерть, другие понятия не имеют, что это была за война, чья и за что. Она — как львиный рык в театре за сценой, когда актеры заняты своими делами. И в то же самое время этот необыкновенный экран сверхъестественным образом отражает контрасты — плодородная долина Нила сменяется пустыней так резко, что можно разом шагнуть из одного пространства в другое; потрескавшиеся статуи могут оказаться греческими, римскими, древнеегипетскими, средневековыми, христианскими, исламскими; не умеющие читать и писать

крестьяне проживают свою недолгую (около тридцати лет) жизнь в лачугах рядом с грандиозными храмами, три тысячи лет несущими на своих стенах мифические образы. Эта страна не признает ни хронологии, ни логики.

— Вы видите изображение Рамзеса Второго, — тянет экскурсовод. — Вы видите, как царь приносит жертва свои боги и богини. Вы видите лотос. Вы видите великолепная резная колонна. Ей три тысяча двести лет. В ней двадцать три метра высота. На верхушке вы видите резьба королева Виктория.

— Видите что, Мустафа? — переспрашивает священник.

— Прошу, сэр, воспользоваться свой бинокль. Вы видите там.

— А… я вас понял. Он имел в виду времена королевы Виктории. Это надписи, которые оставили путешественники тех лет. Удивительно, не правда ли?

— Как же они туда забрались? — спрашивает одна из телефонисток, а другие заходятся смехом.

— Его ж тогда еще не откопали, эх ты, дурочка. Тут было полно песка. Они ходили рядом с верхушками этих колонн.

Они снова выходят на слепящее солнце, к своим

гхари, которые отвезут их в Луксор, и только Том и Клаудия задерживаются в горячей тени, рядом с Рамзесом Вторым и преп. Джоном Фосетом из Эмершема, что в графстве Бакингем, 1859.

— Пора возвращаться в гостиницу, — говорит Том.

До поезда всего шесть часов.

— Мы, возможно, никогда сюда не вернемся, — говорит Клаудия, глядя вверх. — Подумай о преподобном Джоне Фосете, который когда-то ковылял там, над нашими головами.

— К черту преподобного Джона Фосета. Пора идти.

— Я люблю тебя, — отзывается Клаудия, не двигаясь.

— Я знаю. Пора возвращаться в гостиницу.

— В среду утром ты снова окажешься в пустыне.

— Тебе незачем об этом думать.

— Я должна об этом думать. Если хочу сберечь.

Потому что бывают минуты — здесь и сейчас, — когда она чувствует, что ничем не связана, не принадлежит ни прошлому, ни будущему, ни обжитому человеком пространству, а плывет где-то в космосе. По ночам она смотрит на обжигающие трепетные звезды, которые никак не могут

быть теми же, что мерцают в английском небе, и испытывает ощущение бесконечности, далекое от покоя, — оно как сильнейшая лихорадка, психологический аналог малярии, брюшного тифа, дизентерии и разлития желчи, которым в той или иной мере подвержены все и вся на этом континенте.

Мы жили одним днем. Это банальность, но в ней — правда. Мы старались не вспоминать о смерти, прятались за эвфемизмами, нарочитой беззаботностью и недомолвками, словно речь шла о спортивном состязании. Женщины, чьи мужья погибли во время последней атаки, через несколько недель появлялись у бассейна в клубе Гезиры, ужасно отважные и до неприличия веселые. Танцы. Выпивка. Люди входили в мою жизнь и покидали ее, люди, которых я с тех пор никогда не видела, которых я знала лично: мои закадычные друзья из пресс-корпуса, солдаты, приехавшие из пустыни в увольнительную, служащие посольства, серые кардиналы из штаба армии и робинзоны Каира — европейцы, живущие здесь много лет, банкиры, предприниматели, с помощью Британского совета и английского языка приторговывающие культурой в школах и университетах города. Калифы на час — уда-

лые бригадиры, полковники и майоры Восьмой армии, — словно средневековые бароны, делили время между полем битвы и сибаритскими утехами Каира. Они вылезали из танков, чтобы сыграть в поло или пострелять по тарелочкам в Файюме. Я знала одного усатого полковника, который держал конюшню с десятком пони для поло, двоих грумов-египтян и немногословного гусара, доставившего в Гелиополис свору гончих, чтобы охотиться на шакалов. Сам военный быт помог оформиться этой аналогии: осада, палаточный лагерь, набеги, перестрелки, приливы и отливы, словно сама пустыня отдавала приказы «вольно» и «смирно». Укреплялся миф о военном гении Роммеля, словно это новый Саладдин[73] — хитрый, но воспитанный в джентльменских понятиях враг, беспощадный, но по природе настоящий рыцарь. Я сама написала статью о крестоносцах нашего времени и отправила ее в лондонский еженедельник левого толка — чтобы получить едкую отповедь от редактора, не усмотревшего аналогии между мобилизацией британского рабочего класса и феодальным рекрутским набором. Что же, у него, конечно, были

[73] Примечания: 73

Европейский вариант имени султана Египта и Сирии мусульманского лидера XII века Юсуфа ибн-Айюба, что означает «защитник веры».

на то основания, нужно было быть законченным педантом и упрямцем, чтобы не услышать в этой войне эхо былого пришествия европейцев в пустыню, когда масса людей и оружия оказалась вброшенной в непонятный чуждый мир. Шутки ради я послала статейку Гордону, и спустя несколько месяцев меня настиг его ответ: «Узнаю твой обычный романтизм». Я даже не обратила на него внимания — в ту пору меня уж занимало другое.

Для нас, в пресс-корпусе, война, конечно, была работой. Мы бродили, дожидаясь коммюнике, новостей, слухов. Мы гонялись за доверенными лицами больших шишек из Штаба, свежеиспеченными молоденькими атташе, которые могли осчастливить нас интервью или неофициальным комментарием. Мы ворча сидели в очереди на перлюстрацию, дожидаясь, чтобы этот запутанный процесс наконец завершился и мы могли отправить свой материал в Лондон. Или в Нью-Йорк, или в Канберру, или в Кейптаун — ведь и наша интернациональная компания на свой лад была маленькой моделью Каира. И должна признаться, что и я, как моя тупоголовая соседка Камилла, порой отправлялась на сексохоту. Я была одной из немногих женщин среди

коллег-мужчин… и определенно самой привлекательной, самой изобретательной, самой лукавой и наименее доверчивой.

И самой нескромной.

— Как вы вообще сюда пробрались? — В голосе его слышна суровая нотка.

— Природный талант, — говорит она с вызовом.

И тут же сожалеет об этом. В легкой застольной беседе ни к чему такие выпады, да и не в Каире они сейчас, а где-то в Киренаике,[74] сидят на пустых канистрах и едят консервы — тушенку, рисовый пудинг, джем. Том Сауверн смотрит на нее, потом на карту. Кто-то дает ей в руки жестяную кружку с чаем. «Спасибо», — говорит она смиренно: за последние двенадцать часов она научилась ценить такой подарок.

Сейчас, должно быть, около полуночи, стоит собачий холод. Они сидят возле палатки, внутри которой новозеландец с треском печатает на машинке интервью командующего. По серебристому песку движутся темные тени, проходят между едва различимыми силуэтами палаток и машин. Небо — угольно-черный купол, усы-

---

[74] Примечания: 74
Область на востоке современной Ливии.

панный бриллиантами звезд, по нему шарят длинные белые лучи поисковых прожекторов, на горизонте пляшут оранжевые всполохи. Взлетают истребители — белые, красные, зеленые огни. Где-то там, дальше, а насколько именно дальше — неизвестно, находится фронт, их призрачная, неопределенная цель, скорее понятие, чем место. Мужчины ссутулились под шинелями или изодранными тулупами. Клаудия одета в брюки, два свитера и пальто — и все равно дрожит от холода. Джим Чемберс, которого привезли пару часов назад, зевает и говорит, что идет спать. Клаудия и Том Сауверн остаются одни.

— На самом деле, говорит она, — мне просто удалось их убедить.

Он складывает карту и убирает ее в планшет.

— Так я и думал, — отвечает он и улыбается.

У него красные глаза и застывший взгляд, как у всех у них. Пару часов назад, когда Клаудия услышала заплетающуюся, с расстановками речь одного из солдат, ей показалось (хоть она и была этим слегка удивлена), что он пьян. Теперь же она поняла, что дело тут в смертельной усталости. Многие из этих людей не спали по нескольку ночей. Последняя атака была всего три дня назад.

И между ними завязывается разговор — не о

боях и окружениях, не о том, когда следующая заварушка, а о том, что было не здесь и давно.

— Когда я был ребенком, — говорил Том Сауверн, — у меня сердце замирало при одной мысли о пустынях. Ничего странного, для того, кто вырос в деревне в Суссексе. Началось с Иоанна Крестителя, проповедовавшего в пустыне Иудейской, и картинок в детской Библии — со всеми этими людьми в чудесных ярких одеждах, с верблюдами и ослицами. Помню, как-то раз мы слепили из теста карту земли Ханаанской, Красное море у нас было раскрашено ярко-голубым, а Синай — желтым. Иногда, когда я смотрю на штабные карты, я вспоминаю тот случай.

Здесь он находится уже полгода. Прошел подготовку в Дельте, а теперь командует танковым взводом. Участвовал в последних боях.

— Из пустынь я до этого была разве что в Чармуте, — говорит Клаудия. — Там песчаные отмели. Мы с братом собирали там окаменелости. Мы из-за них устраивали настоящие баталии.

— Здесь тоже есть окаменелости, — отвечает Том Сауверн. — Я только вчера нашел одну. Хотите? — Он лезет в карман шинели.

— Спасибо. Это же морская звезда. Бог ты мой! Выходит, и здесь было когда-то море.

— Получается, так. Это, в некотором роде, все расставляет по своим местам.

— Да, — говорит Клаудия, — верно.

Они сидят, обняв ладонями кружки. В палатке все клацает машинка новозеландца, горизонт по-прежнему ревет и искрится, по серебристому песку снуют тени.

— Я веду дневник, — говорит Том. — Он отчасти зашифрован — мало ли куда попадет моя сумка? Но я думаю когда-нибудь люди захотят вспомнить, как это все было.

— И как же оно есть? — спрашивает Клаудия, подумав.

Он прикуривает и пристально смотрит на нее. Лицо его в лунном свете кажется почти черным.

— Хм… как же оно есть? Интересный вопрос…

Но тут из палатки, шурша отпечатанными листками, выходит новозеландец и предлагает фляжку с виски. Принимается решение, что Клаудия (которая, конечно, против) будет спать в палатке, а остальные обойдутся грузовиком. Том Сауверн на следующий день едет на побережье за запчастями для танков; он может их подвезти.

Клаудия лежит в палатке, в спальном мешке. Она то и дело просыпается. Раз она выглянула из палатки и оглядела пустыню. Вокруг были и

другие палатки, такие маленькие, Что из них торчали обутые в сапоги ноги спящих. В грузовиках и джипах виднелись укутанные фигуры. Печурка, сделанная из пустой канистры, тихо дымит. Клаудия повернулась на бок, и морская звезда у нее в кармане хрустнула, Она вынула звезду и лежала, держа ее в руке, ощупывая шероховатую поверхность, пять симметричных лучей.

Нет, я не храню ее по сей день. Я держала ее как пресс-папье в своей квартире в Каире. Она лежала на столе перед затянутым сеткой окном. Там я обычно работала, поглядывая на сад, в котором сияли циннии, бугенвиллеи, густо-розовые канны. Все утро дорожки черепашьими темпами подметал мальчик, помощник садовника. Иногда он бродил со шлангом между цветочными клумбами под бдительным оком хозяйки-француженки. Уезжая, я оставила мадам Шарлотт небогатый скарб, которым успела обзавестись: медный поднос, купленный на базаре Аль-Мускки, кожаную подушечку, керосинку. Возможно, морская звезда до сих пор в этом саду, среди окаймляющих тропинки камней.

Мадам Шарлотт называла себя француженкой. В действительности же ее отец был ливиец, а мать — одна из истинных каирских аборигенок,

чье племя так же трудно поддается идентификации, как и сам этот город. Эта крохотная рыжеволосая старушка, родным языком которой был, точно, французский, так же непринужденно разговаривала по-арабски и по-русски, а также на каком-то инородном варианте английского. Днем они с дочерью прели в душной комнатушке, полной громоздких стульев и диванов, с которых они покрикивали на слуг и бросали испытующие взгляды на своих жильцов. Когда воздыхатели Камиллы поднимались и спускались по лестнице, острые глазки мадам Шарлотт так и сверкали из-за плетеной ширмы, закрывавшей вход в их комнаты. Когда по вечерам мы собирали у себя на балконе друзей, она обходила сад, поливая огненные циннии, и украдкой взглядывала наверх. На ней всегда было бесформенное черное платье, которое зимой дополнял серый кардиган, а в удушливое каирское лето — чулки. Ни разу за все время я не слышала от нее упоминания о войне — равно как и о ее муже, от которого не было ни слуху ни духу. И то и другое обстоятельство, по всей видимости, были ей неприятны, а потому о них решено было забыть. Вернувшись из поездки в пустыню, я рассказала о ней своей хозяйке, и она предпочла впредь именовать ее не иначе

как *votre petite vacance.*[75] Думала ли она когда-нибудь о том, что станется с ней, если немцы войдут в Каир? Пожалуй, они с матерью просто растворились бы в этом питательном растворе для космополитов, переменили бы кожу, словно хамелеоны, шныряющие в садовых деревьях, косоглазые, спиралехвостые, переползающие невидимками по ветвям, цепляясь за них трехпалыми перепончатыми лапками.

После возвращения из пустыни я заболела. У меня начался жар. Я набрала текст на машинке, презентовала Камилле французские духи, чтобы она отнесла статью на перлюстрацию, и слегла на неделю с приступом малярии, порою спрашивая себя, уж не привиделось ли мне все происшедшее со мной в лихорадке.

Все зашевелилось задолго до зари, да и сна как такового не было. В предрассветных сумерках рдеют разведенные поварами костры. Клаудия, Джим Чемберс и новозеландец умываются, разделив на троих стакан воды. С рассветом из палатки командующего выходит Том Сауверн со связкой карт и документов и говорит, что им пора ехать. Они забираются в грузовик — Том Сауверн за

---

[75] Примечания: 75
Ваша прогулка (фр.). Примеч. пер.

руль, рядом с ним Клаудия, Джим, и новозеландец сзади. На них военная форма — обычные брюки в рубчик, походное обмундирование, шинель. Том советует Клаудии прикрепить зеленый с золотом значок военного корреспондента на видное место — «если не хотите и дальше вызывать недоуменные взгляды». Он решил попытаться на несколько минут залучить в их распоряжение командира танкового полка, который вел прошлое сражение. Затем он высадит их на взлетной полосе у дороги на побережье; оттуда они смогут сесть на попутку до Каира. Джим и новозеландец сварливо обсуждают шансы добыть грузовик, чтобы попробовать добраться до фронта. «На этот раз без тебя, подруга, — говорит Джим Клаудии. — Ты и так уже далеко забралась, хорошего понемножку». Клаудия не отвечает: она с отвращением смотрит на скопище людей в потрепанной сине-зеленой форме. Сотни людей сидят, скорчившись, в песке (она попробовала быстро подсчитать, поделив их на десятки); грузовик с грохотом несется мимо них по узкой колее смешанного с гравием песка. Люди не реагируют на его появление, но двое или трое, заметив в кабине грузовика женщину, оживились. Один из них вскочил на ноги и, энергично жестикулируя,

послал Клаудии воздушный поцелуй. «Сразу видно, итальяшка!» — захохотал новозеландец.

Значит, вот они какие, враги, думает Клаудия. Вот, значит, как они выглядят: безработные итальянские официанты, едва ли многим из них больше двадцати одного года. «Не похоже, что они удручены», — говорит она. «А чего им грустить, — отвечает Том, — они рады-радехоньки, что выбрались из этой заварухи».

Целый день они едут среди дымящихся обломков, словно по одному и тому же месту. На прошлой неделе здесь захлебнулась вражеская атака. За обладание этой тысячей квадратных миль пустоты люди пять дней и пять ночей убивали друг друга, она забрала несколько сотен человеческих жизней. И осталась ничьей, приходит на ум Клаудии. Песок уже сейчас припорошил разбитую технику, канистры из-под бензина, колючую проволоку — еще несколько песчаных бурь, и они утонут в нем. Через несколько лет не останется и следа от этой битвы. Она смотрит, как Том Сауверн изучает карту, еще одну дань условности: у пустыни нет ни границ, ни краев, ни периметра.

За этот день ей довелось беседовать с бесчетным числом мужчин. Том Сауверн то и

дело останавливается, чтобы перемолвиться со встречными; на этом песчаном тракте, то оживленном, то пустынном, заблудиться легче легкого. Вокруг Движется множество машин: упрямо ползут по пустоши одинокие мотоциклисты, грузовички и тяжелые фуры, бронированная техника; подбитые танки перетаскивают в ремонтные мастерские, разъезжают санитарные машины и джипы. А те, кто не движется, сгорбились, укрылись во времянках, ямках, потайных местах. Клаудия опускается на корточки перед окопом и заговаривает с двумя солдатами, кипятившими воду для чая. Одну кружку они подают ей наверх. Они из Аргайла и Сатерленда,[76] первый батальон, на фронт попали две недели назад. Худощавые и жилистые, словно два фокстерьера, они и в пустыне как дома (ведь и предкам их, думает Клаудия, уже приходилось налаживать жизнь в другой, но столь же безжалостной местности); они отговаривают Клаудию спускаться к ним в окоп: «Проклятые итальяшки уже тут побывали, такого натворили — с души воротит». И действительно, с благодарностью возвращая кружку, Клаудия чувствует поднимающуюся из

[76] Примечания: 76
Исторические области в Шотландии.

окопа волну смрадного запаха. Сделав кое-какие пометки в записной книжке, она присоединяется к остальным.

Она беседует с офицером из Черной Стражи,[77] который тщательно бреется, устроившись за своей палаткой. Он спрашивает ее, не встречались ли они с ней в городе и не знает ли она, случайно, кого-нибудь из Броук-Уиллоби. Сапер советует им держаться подальше от соседней *вади*,[78] где, судя по некоторым признакам, может оказаться минное поле. В отдалении Клаудия видит медлительные фигуры, которые терпеливо, шаг за шагом, исследуют землю, опутывая ее замысловатой паутиной лент и колышков. Она беседует с людьми, в речи которых слышен крестьянский выговор Глостершира, Уоппинга, Кенсингтона. Одни отмалчиваются, другие говорят без умолку. На этой огневой позиции были сложности, выжил он один — речь звучит сдержанно и сухо, как в полицейском донесении.

У другого, с торсом, покрытым пустынными

---

[77] Примечания: 77

Полк, комплектуемый из уроженцев Северной и Северо-Западной Шотландии.

[78] Примечания: 78

Арабское название сухих русел рек или речных долин, во время сильных ливней заполняющихся водой.

язвами, девушка в Каире — не отвезет ли Клаудия ей письмо? Она все строчит и строчит в своем блокноте. Солнце уже высоко, мухи тучами садятся на лица, шеи, оголенные руки. Песок забивает нос, глаза, уши.

Они останавливаются в ротной штабной палатке. Том Сауверн достает ее любительский фотоаппарат и, несмотря на ее протесты, делает снимок: Клаудия прислонилась к грузовику, хохочет, машет рукой. На обед тушенка и чай. Вода в их фляжках стала такой же, как чай, горячей. Сидя в тени грузовика, Клаудия печатает на машинке, а Том переговаривается с оживленным усатым майором, который то и дело настороженно на нее посматривает. «Эта из прессы?» — слышит она его слова. «Я их уже не перевариваю, честное слово, ты прости, парень, конечно». Затем он, правда, смягчился и, подойдя к ней, неловко завязал беседу:

— Боюсь, у нас тут сейчас запарка — потеряли радиоконтакт с Центром, а то бы и поболтать можно было! — Он с сомнением оглядывает Клаудию. — Мои парни за вами хорошо присматривают? Я и не знал, что в Каире разрешают женщинам сюда приезжать.

— Не то чтобы разрешают, — отвечает за нее

Джим Чемберс, — мисс Хэмптон вроде как сама по себе.

Клаудия лучезарно улыбается. Майор встряхивается, как вышедшая из воды собака, поворачивается и идет к своей палатке.

Покинув этот центр цивилизации, они двинулись дальше, Удаляясь от основного скопления людей и техники, а также торных путей. Машин попадается все меньше, и все чаще Том Сауверн заглядывает в карты, смотрит в бинокль и включает радио. Они направляются к прибрежной дороге, которая была проложена к базе снабжения. Колея идет вдоль неглубокой вади; с другой ее стороны на тридцать футов поднимается рельефная каменистая гряда, не позволяя ничего увидеть; время от времени нависшая скала отбрасывает на дорогу маленькую черную тень — отдых для глаз посреди безжалостного белого сияния.

Когда Том в очередной раз остановился и принялся сверяться с картой, Клаудия извинилась и принялась взбираться на гряду. «Не забывай правило, дорогуша!» — кричит ей вслед Джим Чемберс. Она машет рукой — да, нельзя терять из виду грузовик. Добравшись до верха, она выбирает подходящий камень и с облегчением

садится за ним. Поднявшись и поправив слаксы, она дает волю любопытству и переходит на другую сторону гряды, откуда видна соседняя вади — шире и глубже, и в ней кое-что есть. Приблизительно в сотне ярдов от Клаудии лежит на боку покореженный бронированный автомобиль со сломанной и торчащей вбок осью. А рядом с ним лежит труп.

Вздрогнув, Клаудия бежит к машине. Человек лежит лицом вниз. Волосы у него светлые, рядом валяется каска, голова черна от запекшейся крови, от которой почернел и песок, у одной ноги недостает ступни. Мухи ползают по нему блестящим роем. И тут она слышит звук, доносящийся из-за перевернутой машины. Она обходит автомобиль кругом и тут видит еще одно растерзанное тело — но это тело движется. Человек пытается поднять руку, но она безжизненно опускается снова на песок. Клаудия слышит стон.

Клаудия наклоняется к нему: «Я приведу помощь. Со мной трое мужчин, я сейчас вернусь. Слышите меня? С вами все будет в порядке». Но он вряд ли вообще способен слышать. Один глаз у него вытек, песок почернел от крови, брюки разорваны, в одном из бедер зияет рана, куда можно просунуть кулак. К ней ползет цепочка

муравьев.

Взбежав на гребень холма, она машет руками и кричит. Мужчины подходят к ней. Том Сауверн достает бинокль: «Вы спускались туда? Вот идиотка. Они подорвались на мине. Там вокруг могли быть другие». — «Простите, — говорит Клаудия» — там человек, он еще жив». — «Все равно идиотка. Стойте здесь. Чемберс, принесите, пожалуйста, перевязочный пакет из грузовика».

Осторожно, не отводя глаз от песка, он спускается к перевернутому автомобилю. Один раз он останавливается, внимательно что-то разглядывает. Наконец он подходит к автомобилю и зовет Джима Чемберса. Клаудия и новозеландец остаются на холме.

— С тобой все хорошо? — спрашивает новозеландец.

— Да, все в порядке.

Возвращаются мужчины.

— Он уже около суток здесь, бедняга, — говорит Том. — Поисковая команда их, похоже, пропустила. — Он смотрит на Клаудию. — Повезло ему, что вы выбрали именно это местечко. Я свяжусь с санитарами по рации, и мы подождем, пока они подъедут. Я, что мог, сделал. Бедный парень. Он, кажется, почти ничего не соображает.

— Простите, что вела себя как идиотка, — говорит Клаудия.

Он пристально смотрит на нее:

— Ну, вы целы, это главное. Но если хотите такой и остаться, больше так не поступайте.

8

— Какой милый цветочек, — говорит сиделка. — Это ваша невестка принесла? Чудесный цвет. Такие растут в оранжереях. Поставлю-ка я его поближе к радиатору.

Клаудия поворачивает голову:

— Это пуансеттия. Совершенно неистребимое растение. Они растут в пустынях. Пусть испытает судьбу, как все мы.

Сиделка щупает землю в горшке и качает головой:

— Нет, голубушка, здесь вроде бы торф. — Она снимает цветок в подоконника. — Мы ведь не хотим, чтобы цветочек погиб, правда? Миссис Хэмптон расстроится.

Нет, она не расстроится. Она будет винить меня в том, что я его загубила. Про себя, естественно, — не вслух. За эти годы я наслушалась немало молчаливых обвинений Сильвии.

Как это похоже на Сильвию — принести мне пуансеттию. Она как знала. Люди, которым не хватает тонкости, могут быть жестокими нечаянно, даже об этом не догадываясь.

Это было крошечное селение на берегу моря. Цепочка разрушающихся каменных строений, которые когда-то были белыми оштукатуренными особняками и кафе. Стена кафе, правда, сохранилась, как и прикрепленный к ней плакат с рекламой «Швепс». Развалины особняков покрылись буйной растительностью: хвостами ярко-голубого вьюнка и кружевом алой пуансеттии — молочая. Клаудия сорвала один цветок, и пальцы немедленно склеились от белого сока. Она бросила молочай на песок и вытерла руки о штанины. Цветы были великолепны. Они только что прошли по лагерю, утопающему в асфоделях и душистом табаке; солдаты прогуливались между палатками, воздух благоухал.

— На прошлой неделе был дождь, — пояснил Том Сауверн, — семена, наверное, находились в состоянии покоя, а от влаги проросли.

В состоянии покоя… месяцы, а может, годы, думает Клаудия. Как удивительно. Но еще удивительнее стоять здесь, в этом месте, в это время — и разговаривать о ботанике. По прибрежной дороге тянется нескончаемый серый гремящий поток грузовиков, автоколонны одна за другой пробираются к западу, идут медленной неумолимой армейской поступью бензовозы, тяжелые

грузовики, санитарные и бронированные транспорты. И за всем этим сверкает великолепный лазоревый изгиб Средиземного моря, с серыми очертаниями кораблей на горизонте. С неба эхом доносится гул самолетов.

— Вы спрашивали, — говорит он, — что чувствуешь на войне? Я так понимаю, это нужно вам для статьи?

Они сидят на низком парапете, которым был когда-то огорожен дворик кафе. Джим Чемберс и новозеландец ухитрились найти кого-то, кто помог им пробраться на передовую. Том Сауверн передаст Клаудию парню из BBC, который предложил отвезти ее в Каир на транспортном самолете и сейчас идет к ним через летное поле. Он увидал кого-то на КПП, но закончит разговор и придет. А Том заберет танк и вернется в свою дивизию, чтобы снова двигаться вперед.

— Нет, — отвечает она, — мне просто важно понять.

Он задумывается, подбирая слова:

— Много чего. Скуку, неудобства, восторг, страх. Все так быстро меняется, что и не передашь. — Он пристально смотрит на нее. — Извините, что я так нехотя отвечаю. Это как прожить целую жизнь в одну мучительную минуту. Временами здесь

творится черт знает что. Час может показаться днем, а день — часом. Ощущения, мысленные образы сменяются с такой быстротой, что все предметы материального мира приобретают невероятную четкость. Я подолгу разглядывал излом камня, смотрел, как ползет насекомое. — Он помолчал. — Мой водитель был убит в первом же бою. Мы с ним вместе были на сборах. За неделю до того был его день рождения. Мы тогда открыли банку персиков и выпили виски. Ему исполнилось двадцать три. И в тот же день мы с ним видели мираж: целую деревню в оазисе — пальмы, хижины, крестьяне, верблюды. Я подумал, что у меня галлюцинации, и тут он сказал: «Господи, сэр, гляньте-ка!» К миражу едешь, а он тает, расплывается у тебя перед глазами. Но где-то, в каком-то месте, все это существует, живое и целостное. А сейчас я вспоминаю о своем водителе — ефрейторе Хайкрафте из Ноттингема, — и когда устану так, что ничего уже не соображаю, как зомби, одна мысль никак не идет из головы: куда же он делся? Как так может быть: сегодня ты сидишь с ним в одном танке, а завтра его уже нет? Как?

— Я не знаю, — шепчет Клаудия. Она смотрит на его ноги: припорошенный песком ботинок

наступил на большой цветок пуансеттии, блестящую алую звезду с золотистым сердечком.

— Мы похоронили его в тот же вечер. Отпевал его католический священник. Может, мне стоило спросить у священника, куда ушел ефрейтор Хэйкрафт. Едва ли ему бы это понравилось. Но вы, может быть, набожны?

— Нет, — отвечает Клаудия, — я не набожна.

— Тогда мои слова вас не обидели. Заранее ведь никогда не знаешь. Здесь творится невероятное количество богоугодных дел, вы даже не поверите. Господь активно во всем участвует. Кстати, вы будете рады узнать, что Он на нашей стороне — по крайней мере, мы в этом не сомневаемся.

— Мы победим? — спрашивает Клаудия.

— Думаю, да. Не потому, что Господь с нами, и не потому, что справедливость восторжествует, а просто в сухом остатке у нас больше ресурсов. Справедливость мало значит на войне. Так же как доблесть, самопожертвование… и с чем там еще принято связывать войны! Вот этого я раньше до конца не понимал. О войнах существует совершенно неправильное представление. Славные репортеры былых времен имели обыкновение врать самым бесчестным образом. Я надеюсь, вы и ваши друзья сможете как-то поправить дело.

— Я тоже надеюсь, — отвечает Клаудия.

— Я, впрочем, имел в виду скорее историков, а не репортеров. Думаю, к историкам вы себя не отнесете. Эти люди, которым не довелось побывать на месте событий, как раз и концентрируют свое внимание на доблести, справедливости и прочем. Да, а еще есть статистика. И если вы посмотрите на войну с точки зрения статистики, вы увидите все в совершенно ином свете.

— Да, — говорит Клаудия. — Я начинаю понимать.

— Чем вы занимаетесь, кроме того что разъезжаете по свету во благо свободы печатного слова? — внезапно спрашивает Том.

Клаудия задумывается над ответом. Она удивляется самой себе. Подыскивать слова ей раньше не приходилось. Но сейчас она боится показаться нахальной, глупой, таинственной или претенциозной. Наконец она отвечает:

— Я написала две книги.

— Какие?

— Я… думаю… вы бы сказали, что это книги по истории, — через силу выдавливает она.

Том Сауверн пристально смотрит на нее.

— По истории, — наконец говорит он. — Я сам когда-то любил книги по истории. Я имею в виду,

читать. Прямо-таки зарывался в них. Когда-нибудь, в лучшие времена, я к этому вернусь. Сейчас я просто совсем иначе себя ощущаю. Когда время словно выбито из колеи, приходит неприятное осознание того, что история существует и что ты — ее часть. Каждому кажется, что он защищен от воздействия истории. Но бывают случаи, когда становится очевидна иллюзорность этого убеждения. Что до меня, я бы предпочел иллюзии.

Клаудия не может придумать, что бы ей ответить. Ничего не приходит в голову. Она сидит на разрушенной стене того, что когда-то было маленьким прибрежным кафе, мимо тяжело ползут автоколонны, и за ними мерцает море, проходят взад и вперед ссутуленные фигуры в покрытых копотью мундирах цвета хаки. Уголком глаза она видит, что один из них направляется к ним. Наверное, это тот самый летчик, что взялся доставить ее в Каир. Она смотрит на Тома Сауверна: двое суток назад она даже не подозревала о его существовании. А сейчас она по-настоящему беспокоится, как бы он не подумал о ней плохо.

— Не знаю, что сказать, — говорит она наконец.

Он смеется:

— Тогда молчите и записывайте. Ведь вы же за

этим сюда приехали?

— Эй, там! — кричит приближающийся к ним человек.

Том Сауверн поднимается.

— Это, кажется, ваш провожатый. — Он протягивает руку. — Счастливо вам добраться до Каира.

Они обмениваются рукопожатием.

— Спасибо вам за все, — говорит Клаудия.

— Это моя работа, — отвечает Том.

Они молчат.

— Может быть… — начинает Клаудия.

Но он перебивает ее:

— Может, встретимся, когда я получу увольнительную?

В войнах сражаются дети. Задумывают их одержимые дьяволом взрослые, а сражаются в них дети. Я говорю так, дивясь людской молодости и забывая, что это, напротив, я слишком стара. И все же лица всех погибших на русском фронте, — миллионы мертвых немцев, мертвых украинцев, грузин, татар, латышей, сибиряков — представляются мне юными. И такими же видятся мне лица

погибших на Сомме или под Пасхендалем.[79] Мы, выжившие, стали взрослыми и рассказали друг другу о том, что же на самом деле произошло, — а они, погибшие, так никогда об этом и не узнают. Газетные подшивки в библиотеках пестрят этими полудетскими лицами, улыбающимися во весь рот на палубах военных кораблей, из окон вагонов, с носилок. Я разглядывала их, доискиваясь истины или фактов, а еще потому, что это была моя профессия, — и всякий раз думала об эфемерности любого факта, о том, что каждому, кто смотрит на эти фотографии, эти лица представляются разными. Это были не те мальчики, которых я видела в 1941-м. Не было желтизны старых газет. Перед глазами стоит сияющая красками жаркая страна, я и сейчас вижу ее словно сквозь прищуренные от палящего солнца веки, когда все вокруг светится и струится от зноя. Миражи… Зеркальный мир, исчезающий оазис и сегодня в моей памяти, но не в памяти Тома — Том остался в нем.

Возвратившись из пустыни, я заболела. Потом выздоровела, похудев на три килограмма, и наконец ощутила, что я снова в Каире, — под

[79] Примечания: 79

Деревня, близ которой произошло одно из самых кровопролитных сражений Первой мировой войны.

доброжелательные причитания мадам Шарлотт и ее матери, предсказывавших, что я не проживу и месяца, если не буду поправляться, как положено. Но у меня не было времени болеть. Если уж на то пошло, большинство европейцев вообще почти все время слегка прихварывают. Я описала мою поездку в пустыню (три дня, всего каких-то три дня, — но у некоторых моих коллег-мужчин не было и этого), отдала материал на цензуру и послала его всем редакторам, кого только смогла вспомнить. А потом потянулись обычные недели слухов, разговоров о новом наступлении, новом отступлении, приезде генерала такого-то или дипломата сякого-то. Я околачивалась в коридорах, ища случая перемолвиться с таким-то, или сидела, навострив уши, в кафе либо ресторане, у бортика бассейна или в ночном клубе. У меня был старенький «Форд V8», в котором я пробивалась по рытвинам и пыли местных дорог к Гелиополису, пирамидам, в Маади[80] или к аэропорту, чтобы прилежно записать гладкие фразы прибывающих важных персон. Я была слишком занята, чтобы думать о чем-то еще, кроме своей работы. Поэтому звонок Тома Сауверна застал

[80] Примечания: 80

Респектабельный южный пригород Каира, где селились многие европейцы.

меня почти врасплох.

Белый медведь лежит в углублении с грязной водой. Темно-желтые бока тяжело вздымаются, неряшливая бугристая шкура похожа на отвратительно подстриженную лужайку.

— Идиотизм, — говорит Клаудия.

Стоит май, температура воздуха — девяносто восемь по Фаренгейту.

— О степени цивилизованности страны можно судить по тому, как в ней обращаются с животными, — говорит Том Сауверн. — Ближний Восток, таким образом, котируется невысоко — и он не исключение.

— Не могу на это смотреть, — отвечает Клаудия. — Пойдем поищем львов.

Зоопарк разбит по принципу французского регулярного парка: циннии и петунии высажены геометрическими клумбами, тщательно разровненные граблями дорожки окаймлены изгородью из проволочных обручей, в тени маленьких декоративных беседок сплетничают и вяжут няньки европейских детишек, которые носятся вокруг, крича по-французски и по-английски. Под сенью пальм и казуарин припаркованы детские коляски. Маленькая девочка в голубеньком платьице, с такой же ленточкой в волосах и в белых носоч-

ках смотрит на них блестящими, как бусины, глазами. Птицы и звери, заточенные в вольерах среди деревьев и кустарника, пронзительно кричат; всюду видны надписи на английском, французском и арабском языках. По дорожкам бродит сопровождаемый служителем слон; если ему дать монету в пять пиастров, он поклонится и передаст монету своему спутнику. Тот в свою очередь ухмыляется и кланяется. Гиппопотамы делят свой маленький пруд с фламинго и разного рода утками; рядом стоит служитель с ведром картофеля. За пять пиастров можно купить пару картофелин — чтобы бросить их в розовую глотку гиппопотама. Взрослые гиппопотамы лежали смирно, держа пасти привычно раскрытыми, а вот пара молодых, которые еще не поняли, что к чему, беспокойно плавали взад и вперед время от времени натыкаясь на не попавшую в цель картофелину.

— Это вроде как местное серсо, — говорит Том. — Хочешь попробовать?

— Ты хоть понимаешь, что картофель здесь — роскошь? — спрашивает Клаудия. — Я сама не помню, когда в последний раз ела картофель. Мы едим ямс. Жареный, вареный, в виде пюре. А девяносто процентов местных жителей не имеют

и этого.

— Господи, — говорит Том, — ты что, собираешься испортить себе день благородным негодованием? По крайней мере, гиппопотамы счастливы… по-видимому.

Но Клаудия знает: ничто не может испортить ей день — ни жара, ни то, что чешется укушенная каким-то насекомым рука, ни осознание того, что этот день закончится и настанет другой. Она живет одной минутой, она блаженствует. Успокойся, говорит она себе. Это все оттого, что такого не бывало с тобой раньше. Ты умудрилась дожить до тридцати одного года, ни разу не испытав этого странного умопомрачения. Потому что это, конечно, было умопомрачением; она с трудом, лишь сделав над собой усилие, могла принудить себя не смотреть на него, не касаться его.

Они прошли мимо загона с газелями, клеток с птицами и обезьянами, мимо зловонного вольера, где обитал лев. Серые королевские цапли разгуливали по дорожкам или стояли неподвижно на одной ноге вблизи сидевших с вязаньем нянек. Садовники поливали клумбы из шланга, в воздухе вкусно пахло сырой землей. «Три дня назад, — говорит Том, я трясся над последней канистрой с водой с единственной водовозки,

которую мы встретили за два дня. Но это было в другое время и в другом мире. А здесь просто какое-то зачарованное царство».

Выйдя из зоопарка, они взяли гхари и поехали в клуб. В клубе было несколько акров травы, отвоевавшей себе право на существование благодаря усердному труду и поливу; на ней паслись те дети, кого опекали с особенной заботой; вокруг слышались громкие, самоуверенные британские голоса. Они переоделись в купальные костюмы и сидели под солнечным зонтом возле бассейна, окутанные запахом крема «Нивея». Официант принес им напитки в высоких, позвякивающих кубиками льда стаканах. Ярко-бирюзовый бассейн поминутно вспыхивал солнечными брызгами — всякий раз, когда ныряльщики прыгали в него с трамплинов. Наконец и Том с Клаудией погружаются в воду, аромат крема сменяется запахом хлорки. Клаудия плывет на спине и смотрит, как Том взбирается на самый высокий трамплин. Он выпрямляется, его силуэт отчетливо виден на фоне пронзительно-голубого неба, доска прогибается под его тяжестью; черты его лица отсюда различить невозможно — это просто силуэт мужчины: голова, торс, ноги. «Бедный зверь… — голенькая вилочка», — бормочет

она, плавая, и хихикает. Джин с тоником слегка ударил ей в голову.

— Что-что? — переспрашивает проходивший мимо купальщик, поворачивая к ней голову с блестящими и гладкими, как котиковый мех, волосами.

— Ничего, — отвечает Клаудия, — совсем-совсем ничего.

Стоящий на трамплине Том выпрямляется, приподнимайся на цыпочки, поднимает руки, изгибается — и спустя секунду выныривает на поверхность рядом с ней, отплевываясь от воды, утратив всякий символизм, став просто одним из запрелых купальщиков в сверкающей воде бассейна.

Долгий жаркий день сменяется долгим жарким вечером. «У тебя есть какие-нибудь дела? — спрашивает Том. — Может, поужинаем?» И у Клаудии, конечно, нет никаких дел (и не предвидится в обозримом будущем, дня три или пять или сколько у него там есть). Они ужинают. Потом гуляют по берегу Нила, в сумерках плывет белая фелука,[81] из дельты приплывают белые цапли и устраиваются на ночлег возле Английского моста, так что

---

[81] Примечания: 81
Небольшое палубное судно с треугольными парусами.

серо-зеленые деревья вокруг покрылись белыми крапинами, словно украшениями к Рождеству. День дробится, как лучи на воде, и превращается, как и следующий, и тот, что за ним, в сотню ярких блестящих жонглерских шариков; время утрачивает всякую последовательность, словно леденцы-монпансье в жестяной банке. Вот они стоят, облокотившись на парапет крепостной стены, под ними раскинулся серовато-коричневый, утыканный минаретами город, на горизонте видны очертания пирамид. А теперь они у подножия пирамиды Хеопса, вокруг теснятся ослы и верблюды, обвешанные кисточками и бусами, — пятна красного и оранжевого; на фоне средневековой пышности их упряжи одежда туристов кажется убогой: мундиры, синие или цвета хаки, прозаические европейские женские платья, желтовато-коричневые или белые. Пирамиды зарабатывают вовсю, они правят бал торговли: здесь можно купить открытки, мухобойки из конского хвоста, прогулку на ослике по кличке Телефон, Шоколад или Виски-с-содовой, — наконец, в сопровождении гида взобраться на пирамиду, которая вся усеяна целеустремленными «скалолазами».

Говорят, что человеку в хорошей физической форме нужно для этого сорок минут. На большин-

ство «альпинистов» жизнь в пустыне, по-видимому, подействовала благотворно. Клаудии кажется немного странным, что мужчины, сражающиеся в самой страшной в истории человечества войне, тратят часы досуга на то, чтобы вскарабкаться на эту древнюю искусственную гору.

— Нет, спасибо, — говорит она. — Да у меня и вряд ли получится. Иди ты.

— Нет уж, — отвечает Том, — еще запаникую и сорвусь, унизительный конец. И что тогда Министерство вооруженных сил сообщит моим родителям?

Вместо этого они идут к сфинксу.

— Ну, — говорит Том, — вот и он. По крайней мере, не гробница сибарита, который сам не знал, чего ему еще пожелать. Твердый камень. Когда все это закончится, я надеюсь получить назначение в Индию. Созерцание древностей располагает к концентрации.

— А когда это все закончится? — спрашивает Клаудия.

Он пожимает плечами:

— Откуда мне знать? Я, как и ты, могу только гадать. — И внезапно он берет ее за руки. Позже, — говорит он. — Позже.

Он спит. Лежит рядом с ней обнаженный и

спит. В полумраке она едва различает знакомые очертания гардероба, туалетного столика, стула и эту вот незнакомую большую фигуру на кровати. Час утра. За ставнями жужжит и стрекочет ночное насекомое сообщество садов Гезиры, заходятся криком коты. Сейчас ей придется его разбудить, чтобы он ушел в свою гостиницу, потому что утром бдительное око мадам Шарлотт непременно обнаружит его присутствие; сейчас Том и Клаудия пройдут на цыпочках по каменной лестнице и осторожно откроют входную дверь. Но пока еще есть время, и Клаудия смотрит.

Он так загорел, что остававшиеся под одеждой участки тела кажутся неестественно белыми, светятся в темноте. Ноги, подмышки, ягодицы, низ живота. Выше цвет меняется, становится коричневым, словно это уже другой человек, словно это твердый панцирь, который прячет другое существо, мягкое и беззащитное. Белая кожа, темные завитки волос и сморщенный пенис. Кончик его похож на желудь. Она накрывает его рукой; от ее прикосновения пенис слегка вздрагивает, но он не просыпается.

Час тому назад он опустился перед ней на колени и, неверно истолковав тревогу в ее глазах, спросил: «Ты не… Клаудия, я не первый у тебя?»

Она не могла говорить, только положила руки ему на плечи. Она не могла сказать: «Я боюсь не тебя, а того, что я чувствую».

Она убирает руку от его паха и касается плеча. «Том… — зовет она, — Том..»

Главные кинотеатры показывают «Белоснежку» и фильм с участием Сони Хени. Еще есть благотворительный вечер в пользу Фонда армии и Хоральная вечеря в соборе. В «Гроппи» можно попить чаю, а в «Шипхерде» съесть британский воскресный ланч. Клуб предлагает посмотреть скачки или игру в поло.

— Нет, — говорит Том, — это все не то. Сегодня я хочу как следует рассмотреть это место, если здесь еще осталось что-то, не насаженное войной.

И вот они бредут по запруженным, многоголосым улочкам старого Каира, где запахи людей, животных, кофе, керосина, жареной кукурузы и шипящего растительного масла, перемешавшись, образуют богатейший обонятельный перегной.

— Хочешь кольцо со скарабеем? — спрашивает Том. — Или килим?[82] Может, галабию? Или пу-

---

[82] Примечания: 82
Тканый безворсовый ковер ручной работы.

фик с профилем царицы Нефертити? Мне хочется что-нибудь тебе подарить. Давай найдем что-нибудь, на что ты станешь смотреть полными слез глазами, когда меня не будет. Хотя ты ведь у нас не такая девушка, верно? Я не совсем уверен, какая ты. Вроде бы сдержанная. Независимая?

— До известной степени, — шепчет Клаудия, вглядываясь в черную пещерную глубь лавчонки, откуда на нее смотрит ее владелец, предлагающий россыпь кожаных тапочек. — Но только до известной степени.

— Ага, — говорит он. — Ну, все равно, даже если глаз, полных слез, не ожидается, должен же я как-то к тебе подлизаться?

Продавец тапочек выходит из своего логова и хочет снять мерку с ноги Клаудии.

— Нет, — отказывается она, — спасибо, не надо.

— Дешево. Очень дешево. Хорошую цену дам.

— Да, конечно, но все равно, не надо.

Продавец уже хватает ее за лодыжку.

— Ну, все, — говорит Том, — мы не возьмем эти тапочки. Imshi…[83] — И сразу за этим: — Господи, ну почему с ними приходится так разговаривать?

---

[83] Примечания: 83
Уйди (араб.).

Все слова, какие я знаю на арабском, — команды или ругательства.

— С ними так разговаривали многие сотни лет, — отвечает Клаудия, — они, наверное, привыкли.

— Все равно. Я был бы рад стать исключением из правила.

— Мы ведь тоже зависим от общепринятого. Кто-то больше, кто-то меньше — или хочет зависеть меньше.

— Может, брошку? — спрашивает он. — Серебряную ажурную брошку? Или флакон ароматной воды «Тайны Востока»? Или пресс-папье в виде медной пирамидки? Должно же здесь быть что-то, что тебе нужно. Ну, доставь мне удовольствие. В конце концов, дарить подарки — одна из главных привилегий собственника, правда? Так мы утверждаем свое право на людей. Вживляем в их жизнь частичку себя.

— Я хочу такое кольцо, — говорит Клаудия.

И он покупает ей кольцо, массивное кольцо с маленьким углублением, которое закрыто конической крышечкой. Это кольцо для ядов, говорит им продавец. Против ваших врагов.

— Прямо как в «Тысяче и одной ночи», — замечает Том. — Ты уверена, что хочешь такое

кольцо? Разве у тебя есть враги?

Но Клаудия отвечает: да, это именно то, что она хочет. Кольцо тяжело садится на ее палец. Позже в этот день — а может, на следующий — Том наполнит маленький ящичек песком с холмов Мокаттам, куда они ездили в ее «Форде V8». По вечерам эти холмы кажутся из Каира лиловыми. Клаудия думала, что песок там должен быть голубой, но нет, он такой же скучный, коричневато-желтый, как в любом другом месте.

Ночью Нил кажется драгоценным ожерельем. Мосты украшены россыпью разноцветных огней, вдоль всего берега сияют золотым светом плавучие дома, яркая бахрома ложится на темную узорчатую, в завитках, воду. Один из этих домов — ночной клуб, и сейчас, после полуночи, стены его пульсируют от музыки.

— Он утверждает, что свободных мест не осталось, — говорит Том.

— Дай ему пятьдесят пиастров, — отвечает Клаудия, — и произойдет чудо.

Они сидят, тесно зажатые, в компании из одиннадцати гусарских офицеров (другим чинам не позволяется посещать подобные заведения) и медсестер из госпиталя в Гелиополисе; гусары бросают друг в друга хлебный мякиш, несколь-

ко человек громовым басом заводят старую школьную песню. Крашенная охрой танцовщица отплясывает танец живота; медсестра покатываются со смеху. Есть здесь и певица, наполняющая ночной воздух сочными всхлипами популярных арабских песен. Песня заканчивается, пьяный в стельку гусар хватает микрофон и кривляется, хватаясь за живот и закатывая глаза, рядом стоит неловко улыбающийся конферансье, а другие гусары чуть не валятся на пол от хохота,

— Пожалуй, хватит с меня развлечений, — говорит Том, — я, наверное, не так хорошо акклиматизировался, как ты.

Камилла машет кому-то рукой: еще одна веселая компания торгуется за право войти.

— Кто это?

— Девушка, с которой мы вместе снимаем квартиру, — отвечает Клаудия. — Ну что же, пойдем. Они смогут занять наш столик.

Они стоят на мосту, облокотившись на перила, и смотрят в воду. Улицы почти опустели, изредка прозвенит поздний трамвай, проедет автомобиль или процокает копытами упряжка. Плавучий дом в нескольких сотнях метров ниже по течению по-прежнему содрогается от музыки.

— Иногда этот город кажется мне еще более

нереальным, чем пустыня, — говорит Том

— А мне кажется, что я плохо понимаю то, что сейчас вокруг происходит. Возможно, для этого должно пройти много лет.

— Ты, наверное, напишешь книгу обо всем этом, когда война закончится, — говорит он.

— Нет.

— Почему ты так в этом уверена? Многие из твоих собратьев по журналистскому корпусу уже сейчас копят материал это заметно.

Почему она так уверена? Она и сама не знает — знает только, что это так.

— Если бы не война, — говорит она, — я бы сейчас писала что-нибудь тяжеловесное о Дизраэли.

— А вместо этого пришлось писать нечто тяжеловесное о реальной жизни. Ничего, когда война закончится, Дизраэли никуда не денется.

— А что ты будешь делать, когда закончится война? — спрашивает Клаудия.

— Это зависит… — он смотрит на нее, а потом на воду, — от многого. — Он берет ее за руку. — Давай поговорим об этом позже. Не здесь.

9

На Великую пирамиду теперь нельзя взбираться. На предупреждающем знаке так и написано, по-английски и по-арабски: «Взбираться на пирамиды запрещается». «Они что, рехнулись? — вопрошает техасец. — Кому придет в голову на них карабкаться в такую жару?» Я пожимаю плечами и объясняю ему, что в девятнадцатом веке это был популярный вид спорта. Среди прочих, восхождение совершил и Гюстав Флобер. «Не шутите? И это во всей той одежде, которую они тогда носили?» В его голосе слышна нотка недовольства, он обозревает великолепную ступенчатую громаду пирамиды. Он, я знаю, немного уязвлен: если раньше восхождение на пирамиды входило в программу, не годится ему сейчас упускать такую возможность. Уж он бы не ударил в грязь лицом — совсем как полчаса назад, когда опасливо взгромоздился на спину высокого верблюда. Он всегда был готов к приключениям, и мне это в нем нравилось.

На берегах Нила не осталось плавучих домов. Цапли больше не устраиваются на ночлег воз-

ле Английского моста, и нет больше полей для игры в поло. Я не расстроилась, узнав об этом. Вряд ли мне бы хотелось, чтобы все осталось, как было. Если нельзя обрести самих себя прежних, то пусть и прежнее окружение наше останется недосягаемым. Во всяком случае, теряла актуальность заведомо невыполнимая задача объяснить техасцу смысл игры в поло.

В Египте когда-то существовал город под названием Мемфис.[84] В моей истории мира Мемфису должно быть уделено немалое место; история Мемфиса оказывает целительное воздействие: она на диво демонстрирует преходящий характер вещей. Во времена фараонов Мемфис был необъятным пространством, полным домов, храмов и мастерских, административным и религиозным центром, притягательным для ремесленников и людей искусства, местом пребывания правительства страны, Вашингтоном, Парижем и Римом на берегах Нила. От разливов реки его защищали дамбы. Это звучит как чудо: город, полный пальм и зелени, на месте богатейших илистых отложений, там, где встречаются Верхний и Нижний Египет, город с величественными дворцами и

[84] Примечания: 84

Впервые упоминается в летописях XXIII века до н. э. Располагался в 19 километрах к югу от современного Каира.

широкими дорогами, обрамленными рядами сфинксов, средоточие жизни интеллектуального, сложно организованного сообщества, которое в своем развитии было на несколько голов выше всего остального человечества, возводило здания из тесаного камня, когда предки европейцев ютились по пещерам, запечатлевало свою историю в затейливых письменах, исповедовало одну из самых фантастических, непостижимых и ярких религий.

И что осталось от Мемфиса? Еле различимые следы сельскохозяйственной деятельности да огромная поверженная статуя Рамзеса Второго. Как же верно, что преходяща земная слава. Пошатнулась политическая стабильность Древнего Египта, пришли в негодность дамбы, об остальном позаботился Нил. От жизни граждан Мемфиса ни осталось и следа — чего не скажешь об их смерти. Пирамиды, мастабы, гробницы, саркофаги, надгробия, куда ни глянь, — эти люди были одержимы смертью. Все их верования имели в основе бегство от небытия. Здесь они, правда, не одиноки — лишь дальше, чем прочие, зашли в поисках решения. Люди умирают, и тела их разрушаются. Но с мыслью о смерти нельзя примириться. Почему бы не принять остроумное

допущение, что если сохранить тело, спрятать его, снабдить всем, что необходимо для жизни, то смерть не случится? Что-то — душа, ка, память, как это ни назови, — останется жить вечно. Вы даете этой призрачной тени все, что у нее было в реальной, телесной жизни: утварь, драгоценности, слуг, еду и питье, — и время от времени она будет приходить из вечности, в которой обитает, чтобы добыть средства к существованию из своего земного убежища. Очень интересная, завершенная идея. Вы сохраняете навек своих мертвых, отрицая тем самым возможность собственного исчезновения.

Сегодня мы, конечно, ничему этому не верим. По крайней мере, не верим в их верования, какими они представляются нам. Проблема здесь, однако, не в вере, а в накопленном опыте. Я не могу выкинуть из головы знания о гелиоцентрической системе, кровообращении, силе тяжести, цикличности природных явлений и другие основополагающие концепции. Невозможно вернуться к мировоззрению Четвертой династии — как невозможно вернуться в детство.

Христианству, конечно, не легче. Наука сослужила ему дурную службу. Наука и Разум. «Где живет Бог? — вопрошала пятилетняя Лайза. — Я

хочу Его увидеть». Сделав глубокий вдох, я сказала, что, по моему мнению, Бога не существует, но вот другие… «Бабуля Бранском сказала, Он живет в раю, — холодно перебила моя дочь. — А рай на небе». Позже, в юности, она прошла через ту стадию религиозности, что сродни сексуальному возбуждению и которую католическая церковь декорирует куда более красочно, нежели прозаическая англиканская. В Испании и Франции она могла наблюдать конвульсивные припадки, которые ей понадобилось освоить для подготовки к конфирмации и воскресных песнопений в приходской церкви в Сотлее.

Мусульманам запрещено принимать пищу с рассвета до заката в месяц Рамадан. Кроме того, они должны шесть раз в день произносить молитву, обратившись лицом к Мекке.[85] На лужайках Гезиры было полным-полно павших ниц садовников, которых искусно обходили вниманием их английские наниматели, дабы не демонстрировать невежливого любопытства по отношению к обычаям чуждой им веры. Французы были менее щепетильны: мадам Шарлотт и ее мать весь Рамадан препирались с поваром и

[85] Примечания: 85

Священный город мусульман в Саудовской Аравии, неподалеку от Красного моря.

его помощником, которые слабели от недостатка пищи, и рявкали каждый раз, как садовник падал на колени. Было какое-то тайное удовлетворение в том, что британскому расовому самодовольству не уступала и даже затмевала его французская ксенофобия: презрение, с которым мадам Шарлотт и ее друзья произносили слово «араб», жалило сильнее, чем бездумное английское «туземец» или «местный». Мы явно превосходили французов в либеральности. Мадам Шарлотт была невероятно величественна в роли поборницы чистоты галльской крови; тот факт, что она была замужем за ливанцем и всю свою жизнь прожила в Каире, ни в малой степени ее не смягчал, она вся была воплощение духа Карла Великого и безукоризненной славы Франции. Других европейцев надлежало терпеть, хоть и с толикой пренебрежения, — египтяне же были особой кастой.

В том мире, в каком жила я, англичане с египтянами не пересекались. Пара-тройка исключений в британском консульстве и университетских кругах признавались средним классом, египетской интеллигенцией — крайне узкой прослойкой в стране, которую населяли миллионы крестьян и богатая купеческая аристократия. К

королю, разумеется, демонстрировался некоторый интерес — он был как-никак король, — но видели в нем шута, безответственного плейбоя, поглощенного дворцами и красными спортивными машинами, хотя его красавица жена, королева Фарида, по каким-то причинам считалась угнетенной праведницей, и чуть ли не почетной европейкой. Египтяне не могли быть членами спортивного клуба Гезиры или гольф-клуба. Те из них, у кого был доступ к информации, время и интерес, наблюдали за тем, как развиваются события в пустыне, нисколько в них не вмешиваясь; когда Роммеля было, казалось, уже не остановить, в витринах магазинов появились вывески: «Здесь обслуживают германских офицеров».

Революция и Асуанская плотина поменяли дело. Феллахи никуда не делись, но в их жилищах появилось электричество, а детская смертность уже не составляет сорок процентов, как раньше. Нет больше короля, и нет англичан — они стали такой же частью прошлого, как Мемфис и Фивы. Когда египтяне говорят о войне, они имеют в виду войну с Израилем, а не нашу, которая, в конце концов, не имела к ним никакого отношения.

— Жаль, что тебя не было здесь вчера вече-

ром, — говорит Камилла. — Пип Леверс принес такую зеленую дымящуюся штуку, которую он взял со склада. Это какая-то сигналка. Он поджег ее в саду, позади Ахмеда, и Ахмед прямо взвыл. Это надо было видеть. Он решил, что это ифрит.[86] Ты же знаешь этих местных, они такие суеверные, верят в духов, привидения и всякую такую чепуху. Мы сидели на веранде и смотрели как он причитает — я чуть не умерла со смеху. — Она сидит на краешке кровати и красит ногти на ногах. — Хочешь попробовать лак, Клаудия? Он такой красивенький — это елизаветинский розовый. Слушай, с тобой все в порядке? Ты какая-то хмурая все эти дни.

— Да нет, все нормально, — отвечает Клаудия.

— Египетская дизентерия, наверное, — беспечно говорит Камилла. — Слушай, я сегодня иду на свиданье с азиатом! Мамочку бы удар хватил. Конечно, у них у всех жуткий акцент, но он такой душка, и у него какая-то процветающая контора в Сиднее. А ты придешь потом в клуб?

Клаудия медленно идет в другую комнату. Она выходит на веранду и смотрит оттуда на Гезиру. В сумерках загораются огоньки. Вот уже три неде-

---

[86] Примечания: 86
Демон или дух огня.

ли, как он уехал, и о нем ничего не слышно. Ходят слухи, что через месяц-два начнется масштабная операция, что Роммель прорвется, что станет ясен исход событий. Где Том? Перед ее глазами всплывает картина хаоса, оставленного битвой: остовы сгоревших машин, как звериные скелеты, интимные детали жизни — зубная щетка, разрозненные листки письма, бредущие по песку мужчины. Она снова и снова представляет себе эту картину, и внизу живота что-то болезненно сжимается. Нет, это не египетская дизентерия, думает Клаудия, к сожалению, это не она. Она вдруг понимает, как поменялось ее отношение к войне. Война уже не бродит в отдалении, как большое непредсказуемое животное, за которым она, Клаудия, наблюдает с безопасного расстояния и с чисто научным интересом. Война подобралась прямо к ней, рычит и воет у дверей ее спальни, и она вздрагивает, как испуганный ребенок. Она боится, но не за себя — этот страх подобен древнему атавизму. На память приходит, как маленькой девочкой в одну из особенно темных ночей она убедила саму себя, что солнце уже никогда не появится.

В доме Камилла кричит официанту, чтобы тот принес ей поднос с напитками. В саду мадам

Шарлотт увлеченно обсуждает с соседом цены на мясо.

Так, в неизвестности, тянулись недели, а потом пришло письмо. Это было одно из невыразительных, типичных для военного времени писем, над которыми витала тень цензуры и которые поэтому были лишены всякой теплоты и подробностей. А потом вдруг появился он сам, голосом в телефонной трубке: приезжаю на три дня… приезжаю на пять дней… Мы ездили в Луксор и в Александрию. Не имею представления, сколько времени мы там пробыли. Сегодня вспоминаются декорации — безмятежность Нила в Луксоре, покой и запустение Долины царей, гомон и многолюдье гостиниц, большие, ленивые пенные волны, набегающие на отмели в Сиди Бишр.[87] И каждый раз, когда он уезжал, мне вновь слышался львиный рык, внимание к новостным сводкам обострялось, требовалось срочное общение с пресс-атташе. Снова и снова я старалась еще раз выбраться в пустыню — не для того, чтобы быть ближе к нему, а чтобы видеть то, что он видит, и чувствовать то, что он чувствует. Мне так и не удалось попасть дальше тренировочных лагерей

---

[87] Примечания: 87
Пригород Александрии.

в Мерса-Матрух.[88] Для мужчин из пресс-корпуса это была достаточно будничная поездка, но мы со случайной попутчицей — американской или австралийской журналисткой — вызвали неудовольствие командования Восьмой армии: пустыня не место для женщин.

— Ну почему? — настойчиво спрашивает Клаудия.

— Деточка, нет — и все тут. Такой гвалт поднимется — не приведи господь. Рэндольф Черчилль взял один раз туда американочку — так сколько нам потом пеняли! Ну не любят они женщин, что ж поделаешь…

— Я всего лишь делаю свою работу, — говорит Клаудия, — как санитарки из полевого госпиталя, телефонистки и другие женщины, кто едет в пустыню.

Очередной пресс-атташе из Генерального штаба пожимает плечами:

— Очень жаль, деточка, но что есть — то есть. Я, конечно, сделаю, что могу, — если бы это зависело от меня, я бы завтра же вас посадил в транспортный самолет. Кстати, как насчет выпить сегодня вечером, если вы вдруг не заняты?

---

[88] Примечания: 88

Город в Египте на побережье Средиземного моря, в 240 километрах к западу от Александрии.

Клаудия вежливо улыбается.

Иногда целыми неделями и месяцами ничего не происходило. Было известно лишь, что две армии затаились где-то западнее Тобрука,[89] выжидая, что будет делать противник. Новостей было мало, потому что их и не было. Именно в то время оформился миф о Роммеле как о хитром, мощном, непредсказуемом сопернике, Наполеоне пустыни, затмевающий безыскусные, не первой свежести легенды о геройстве наших собственных генералов. Даже Монтгомери никогда не имел интригующей таинственности Роммеля. В Каире, вероятно, были готовые к худшему реалисты, но никогда, даже в период «паники», когда бронетанковая армия в Аламейне[90] была приведена в полную боевую готовность, а с неба сыпались хлопья сожженных документов, не помню я такого страха. Тогда был кризис — но не смятение. Те, с кем были жены и дети, отослали их в Палестину; несколько семьей отплыли в

[89] Примечания: 89

Город в Ливии (в Киренаике), порт на побережье Средиземного моря, В 1941–1942 годах здесь происходили ожесточенные бои.

[90] Примечания: 90

Город-порт на Средиземном море, в 106 километрах к западу от Александрии. В октябре — ноябре 1942 года в битве за Эль-Аламейн была ликвидирована итало-германская группировка фельдмаршала Роммеля.

Индию и Южную Африку. На земном шаре еще оставалось немало уголков, туда можно было удалиться с места действия, — в любом случае, это была лишь временная мера, до тех пор, пока все не образуется. Думаю, никто всерьез не представлял себе офицеров Роммеля, сидящих вокруг бассейна спортивного клуба Гезиры. Напитки подавались на закате, как обычно; по субботам были скачки; любительский театр по-прежнему ставил сцены из «Микадо».[91] Мама писала из истощенного войной Дорсета, говорила, что рада, что я в безопасности, вот только климат, наверное, тяжело переносить. Интересно, она вообще смотрела на карту? У нее были собственные беды, терпение и стоицизм были темой ее писем: дефицит, пребывающий в прискорбном запустении сад, еще совсем хорошие кастрюли, великодушно пожертвованные на переплавку. Аккуратные буквы, испещрявшие папиросную бумагу прибывающих с авиапочтой писем, красноречиво свидетельствовали о силе ее духа. Неужели она никогда не представляла себе, как германские полки маршируют через Стэрмин-

[91] Примечания: 91

Популярная оперетта «из японской жизни», поставленная в конце XIX века английским драматургом Уильямом Гилбертом и композитором Артуром Салливаном.

стер-Ньютон?[92]

Но в те месяцы начала 1942 года, когда вроде бы ничего не происходило, одно было очевидным: хронический недуг, который если и не угрожал жизни, то мешал ей. Я ездила в Иерусалим, чтобы попытаться взять интервью у де Голля, который, по слухам, был там. Поговорить с де Голлем мне не удалось, и я вместо этого сделала материал о Стерн Ганг.[93] Кое-кто из моих коллег, заскучав, отправился в более интересные точки — и спешно возвращался, когда в пустыне вновь стали буйно развиваться события. Это было время, когда казалось, что даже и то, что происходит, не ведет к переменам. Зима, однако, сменилась весной, в воздухе потеплело, и тут — когда и на сколько дней, не помню — вновь появился он.

— Хочу тебе сказать кое-что очень странное. Я себя никогда так хорошо не чувствовал.

Она смотрит на него: поджарое тело, мускулы — как веревки, темные волосы слегка позолочены солнцем.

— Ты действительно хорошо выглядишь.

---

[92] Примечания: 92

Небольшой городок в Дорсете, на берегу реки Стар.

[93] Примечания: 93

Стерн Ганг, или «Банда Звезды», — воинствующая сионистская группировка.

— Я не об этом. Я о состоянии души. Я совершенно счастлив. Это при всем при том, что творится вокруг. Я думаю, ты колдунья, Клаудия. Добрая, конечно. Белая волшебница.

Она не может выговорить ни слова. Никто никогда — приходит ей в голову — не говорил со мной так. Я еще никогда никого не делала счастливым. Я вызывала раздражение, беспокойство, ревность, желание… но не счастье.

— А ты? — спрашивает Том

— Я тоже, — отвечает она.

— Apre's moi le deluge, — говорит Том, — это все моя никчемная сентиментальность.

— Может, и так, — отвечает она, — но не думаю, что мы могли бы с этим совладать. Мне всегда казалось, что некоторые сантименты полезны.

— Поцелуй меня.

— Мы же в мечети. Что, если мы вызовем гнев?

Но даже в мечети Ибн Тулуна[94] есть укромные местечки.

— Все, я больше не могу, — говорит Том, — нам надо вернуться в твою квартиру.

— Мы еще не взбирались на минарет.

— Я не хочу взбираться на минарет. Я хочу вер-

---

[94] Примечания: 94

Мечеть Ибн Тулуна, старейшая в Каире, сохранила неизменным облик середины IX века

нуться в твою квартиру.

— А вдруг мы здесь больше никогда не окажемся?

— Ты невероятно упрямая женщина. Или ты так меня проверяешь. Ладно, давай взбираться на минарет — но потом мы вернемся в твою квартиру.

Глядя вниз, на лабиринт, полный людей, животных и балконов со свежевыстиранным бельем, Клаудия спрашивает:

— Чем собираешься заняться, когда кончится война?

— Знать бы, когда она кончится… — Он обнимает ее. — Я уже сам столько об этом думал. Ну давай я для начала расскажу тебе, чем я *собирался* заняться, когда кончится война, Я собирался вернуться на родину, исполненный высоких и пылких убеждений, провозгласить общественные права, избираться в парламент в каком-нибудь недружелюбном округе и сойти с дистанции побежденным, но не сломленным. Ну, или жечь журналистским глаголом в каком-нибудь из лучших периодических изданий.

— А сейчас ты больше этого не хочешь? — шепчет Клаудия, запрокидывая голову. Высоко в бледно-голубом небе описывают огромные круги

воздушные змеи.

— Нет. Во мне теперь больше от циника, чем от проповедника, и у меня другое на уме.

— Что же это? — спрашивает Клаудия. Она пытается представить, какой открывается вид с высоты полета змея. Виден ли изгиб земли? Красное море? Или Средиземное?

— Я хочу того, чего у меня никогда не было. Я хочу стабильности. Чтобы жить на одном месте. Строить планы на год вперед, а затем на следующий, и так далее. Я хочу, — он накрывает ее руку своей, — я хочу жениться… Ты вообще слушаешь, что я говорю?

— Я слушаю, — откликается Клаудия.

— Я хочу жениться. Жениться на тебе, если я до сих пор недостаточно внятно выразил свою мысль.

— Мы могли бы проповедовать вместе, — отвечает Клаудия, помедлив, — я сама об этом думала. Ты даже не представляешь…

— Да-да, если найдется время. Но я должен буду зарабатывать на жизнь, а я этим до сих пор занимался постольку-поскольку. Не вижу причин тебе ютиться в какой-нибудь мансарде. Это ведь наверняка не то, к чему ты привыкла.

— Нет, конечно. Но добывать себе стол и дом я

умею неплохо.

— Ты можешь вносить вклад, — рука Тома крепко обнимает ее, — писать свои книги по истории. Я стану добропорядочным гражданином и тружеником. Хочу испачкать руки в земле. Возможно, я буду фермером. Я хочу жить там, где много воды и все цветет. Я хочу видеть, как множатся плоды земные и все такое. Я хочу смотреть в будущее с уверенностью. Я хочу благоденствия на земле, раз уж я не верю в небеса. Я не о деньгах речь веду — мне нужны зеленые поля, и тучные стада, и дубовые рощи. Да, и есть еще кое-что, чего я хочу. Я хочу ребенка.

— Ребенка… — отзывается Клаудия, — господи, ребенка…

Она снова смотрит на кружащихся змеев; один из них теперь намного больше, чем другие, — он медленно снижается, чтобы накрыть какую-то намеченную мишень.

10

— А… — говорит сиделка, — вот и вы, миссис Джемисон. У нас тут были проблемы, хотя, надо сказать, сейчас, утром, ей значительно лучше. Но положение было критическое. Так или иначе, доктор считает, что опасность миновала. Она теперь спит, вы, может быть, захотите посидеть с ней. Ночью она говорила о вас, была не в себе, бедняжка.

Лайза смотрит в окошечко. Клаудия лежит тихо, глаза ее закрыты, из одной руки торчат трубки и яркие пластиковые пакеты.

— Что она говорила?

— Ей, бедняжке, пригрезилось, что она снова рожает. Все говорила: «Это мальчик или девочка?» — Сиделка весело смеется. — Занятно, правда? Женщины часто об этом вспоминают, когда конец настает. Многие наши пожилые пациентки только об этом и твердят. Вот и она туда же: все хватала меня за руку и спрашивала: «Скажите, у меня мальчик или девочка?» Ну, я и говорю — у вас же нет братьев или сестер, миссис Джемисон? — говорю, значит: «Девочка, мисс…

мисс Хэмптон. Но это было давно». — Сиделка прокашлялась. — Конечно, она — деловая женщина, многие деловые женщины хотят чтобы их называли мисс, и я понимаю, что мизз,[95] как некоторые сейчас говорят, — это звучит ужасно. В общем, проходите к ней, миссис Джемисон, хотя я сомневаюсь, что она сегодня настроена разговаривать. Но она, наверное, почувствует, что вы здесь.

Нет, она не почувствует, думает Лайза. Где бы она сейчас ни была, она не в этой комнате. Где-то далеко, далеко отсюда.

Лайза садится. Раскрывает газету, которую принесла с собой, и читает. Она пробудет здесь минут пятнадцать. Время от времени она поглядывает на Клаудию. Один раз подходит потрогать почву в горшке у пуансеттии, которая стоит возле радиатора. Почва, как положено, влажная, но пуансеттия отчего-то поникла.

Так и есть, думает она, рождение ребенка забыть невозможно. Я помню каждую минуту, и со старшим, и с младшим. Она подходит к кровати. Глядя на иссохшие руки Клаудии, ее впалые щеки

---

[95] Примечания: 95

Обращение «мизз» применяется в современном английском языке по отношению к женщинам среднего возраста, не уточняющих свое семейное положение.

и обмякшие контуры накрытого одеялом худого тела, она чувствует одновременно отвращение и жалость. Она думает о любовнике, с которым сегодня увидится, и на несколько мгновений погружается в приятные мысли. А вот Клаудия, думает она с сожалением, наверное, никогда не испытывала такого чувства. Она ведь не любила Джаспера — по крайней мере, не так; она, наверное, вообще никогда никого не любила.

Кольца Клаудии и ее золотой браслет лежат на ночном столике. Лайза берет их, разглядывает. Это, с крупным изумрудом, должно быть, подарил ей Джаспер, а откуда взялись опаловый браслет и кольцо с россыпью мелких бриллиантов — знает только Клаудия. Лайза поспешно кладет драгоценности обратно: Клаудия не любит, когда трогают ее вещи. Да что там не любит — она всегда откровенно злилась.

— Можно я возьму?

— Что? — Клаудия не отрывает взгляда от пишущей машинки.

— Вот эту маленькую коробочку.

Клаудия поворачивает голову и смотрит на кольцо в руке Лайзы, с крохотным потайным отделением. Глаза ее сверкули.

— Нет. Быстро положи туда, где взяла. Я уже

говорила тебе: не трогай мою шкатулку с драгоценностями.

— Но оно мне нравится, — шепчет Лайза.

И это правда, ей ужас как нравится эта удивительная коробочка с крышечкой, украшенной серебряным узором, и крошечным замочком. Кольцо ей велико, болтается на пальце — но какая разница! Она будет хранить в коробочке свои сокровища, малюсенькие и очень ценные вещицы.

— Положи на место.

Лайза открывает кольцо.

— Тут внутри грязь, — говорит она. — Какие-то катышки. Я его почищу.

Клаудия резко поворачивается на стуле и выхватывает у нее кольцо:

— Я сказала, не трогай. И никогда больше не бери его, ты меня поняла?

Если посмотреть на это с точки зрения статистики, то окажется, что потусторонний мир населяют почти исключительно дети. Христианские, языческие. Дети и младенцы. Огромное пространство пеленчатых свертков, ковыляющих малюток с раздутыми животами, сморщенных уродливых гномов. Между ними бродят несколько бородатых патриархов, встречаются старухи,

попадаются сорокалетние. Я видела такое у Босха. У него там еще драконы, вооруженные трезубцами черти и чудовищные крылатые твари. Ни ангелов, ни хора небесного.

От того, что не попадешь в такое место, можно чувствовать только облегчение. Будет лишь забвение. И даже настоящего забвения не будет: мы все остаемся в памяти друг друга. Я останусь — хоть и душераздирающе неправдоподобной — в памяти Лайзы и Сильвии, и Джаспера, и моих внуков (если там найдется местечко между футболистами и поп-звездами), и моих врагов. Будучи историком, я понимаю, что с ложным восприятием поделать ничего нельзя, так что не стоит и пытаться. Возможно, для тех из нас, кто пытается этому противостоять, борьба обращается в подобие ада на земле, — и все для того, чтобы их впоследствии запомнили не так, как других.

Подлая Клаудия. Циничная Клаудия. И счастливая, конечно, раз уж ей выпала возможность спокойно поразмыслить над тем, какой она останется в людской памяти. Многие посчитали бы это роскошью. Весь пролетариат преисподней, огромная солдатская *масса* — мальчишеские лица под тенью касок, шлемов, тюрбанов, меховых киверов…

— Привет, — говорит Камилла. — Слушай, ну и жарища сегодня! У нас вентилятор в конторе накрылся, так мы чуть не сдохли. Я сейчас же иду в душ. Кстати, говорят, какое-то большое сражение было? Ты всегда все знаешь — так расскажи мне. В посольстве всегда столько слухов, но толком никто ничего не говорит. Расскажи! Я не проболтаюсь, клянусь.

Об этом упомянули в новостях, в невыразительной анонимной нарезке сообщений Би-би-си: «…столкновения на западе пустыни, вражеские войска понесли серьезные потери, — произносит бесстрастный голос. — Сразу на нескольких фронтах шли тяжелые бои».

«Вот здорово! — говорит Камилла. — Они, значит, снова сражаются в пустыне, так? В посольстве все так переполошились! Бобби Феллоуз, бедняга, кажется, тяжело ранен — какое несчастье для Салли, но она держится молодцом. И все-таки все говорят, что мы хорошо наподдали Роммелю».

Телефоны и телетайпы в Генштабе не умолкают ни на минуту. Все спешат, всем некогда. Нет, извините, нет, не сейчас, там сам черт ногу сломит… посмотрим, что будет после… Побродите пока что здесь, милочка, в шесть должно быть

коммюнике… Вернитесь… подождите… мы дадим вам знать, как только станет известно.

Мадам Шарлотт бранит повара. Ее монолог льется, не прерываясь, уже пять минут — поток французского и «кухонного» арабского, в котором то и дело всплывают исковерканные *чаевые, пиастры, лодырь, негодяй.* Звонит телефон. Ее шлепанцы шаркают по каменным плитам холла. *«Mademoiselle Claudia… On vous telephone…»*[96] Она возвращается в кухню, поносит Лапаса-бакалейщика, вопрошает о причинах отсутствия белой муки, требует сдачу с банкноты в пятьдесят пиастров — и на ее слова накладывается бесстрастная речь на другом конце провода о неподтвержденных сообщениях, о танковом сражении в районе Сиди Резех, об отступлении…

Солнце палит вовсю, Клаудия печатает на машинке. В соседней комнате спит Камилла, ее отпустили из посольства ради такого важного дела, как послеобеденный отдых. В саду под сенью баньяна спит садовник, устроившись на ворохе старого тряпья. Удоды деловито пощипывают траву на лужайке, петунии и бархатцы пламенеют.

---

[96] Примечания: 96
Мадемуазель Клаудия, вас к телефону (фр.).

Было наступление. А потом отступление. Мы потеряли столько-то танков, столько-то самолетов, столько-то людей попало в плен. Немцы потеряли столько-то и столько-то. Цифры, пляшущие на бумаге, не имеют почти ничего общего с военной техникой, с потом и кровью. Если что-то подобное и произошло, то где-то там, а здесь звякают кубики льда в стаканах и поют шланги в садах Гезиры.

«Боюсь, у меня нет для вас никаких новостей, милочка, — говорит пресс-атташе, — посмотрите последние списки потерь, если хотите…»

«…В субботу в Файюме пикник, — говорит Камилла, — так здорово! Эдди Мастерс придет, и Пип, и Джамбо. Слушай, Клаудия, что-то случилось? Ты выглядишь неважно — может, примешь аспирин?»

Сначала в это нельзя было поверить. Просто невозможно. Нет, этого не может быть. Только не он. Другие — но не он. А потом — надежда. Пропасть без вести — это не значит погибнуть, пропавших находят — в плену, среди раненых. Или они возвращаются из пустыни спустя несколько дней, и без единой царапины. Каир полон этими слухами.

Надежда сменяется ожиданием — сегодня и на

следующий день, и снова, и снова ночи без сна, с ноющей пустотой внутри, и страх, как огромный камень, всякий раз, как позволяешь себе вспомнить.

И приход — со стыдом и робостью — под своды собора.

«Mademoiselle Claudia… On vous telephone…»

«Клаудия? Здесь Драммонд, пресс-атташе. Вы просили дать вам знать, если станет что-то известно о Сауверне. Капитане Т. Д. Сауверне, которого считали пропавшим без вести. Так? Пришло сообщение — похоже, его нашли. Убит, бедняга. Вы его близко знали?»

Хуже всего ночи. Дни как-то проходят, все время надо что-то делать. Но ночи… они длятся не семь, не восемь часов, а все двадцать четыре, они сами по себе сутки, жаркие, черные, когда она лежит на простынях, нагая, и безотрывно смотрит в потолок, час за часом…

«Абдула пришлось снова послать за молоком, — говорит Камилла, — в первый раз он принес какую-то бурду, наверняка долил сверху водой из Нила. Мы тебя прошлой ночью не разбудили. Эдди привез меня с вечеринки и *настоял* на том, чтобы зайти чего-нибудь выпить. А ты не хочешь позавтракать?»

Как он умер? И где? Было ли это в одну секунду — или медленно, и он лежал там в луже крови, совсем один, не в силах поджечь сигнальную ракету или достать фляжку с водой? Просто лежал и ждал…

Пожалуйста, пусть это было в одну секунду.

Мадам Шарлотт внезапно атакует из своего укрытия:*«На секунду, Mademoiselle Claudia…»* Диковатая смесь французских и английских слов, страстные жалобы на цены и жуликов-торговцев, лишения военного времени — «эта жу-уткая война!» — не обойтись без повышения квартирной платы *«mais tre's peu, vous comprenez, tre's peu, c'est moi qui souffrirai, en fin..».*[97] Клаудия слушает, держась за перила, пока не подступает тошнота, и тогда уже, пробормотав «извините», бросается вверх по лестнице…

Только не думать об этом. Все прошло, все закончилось. Где бы ни было, как бы ни было. Его больше нет там. Его нет нигде. Совсем нигде. Только не думать.

«Сикюрель выписал такую чудную материю, — говорит Камилла, — розовый и голубой крепдешин, просто прелесть. Я взяла два отреза, для

---

[97] Примечания: 97

Ненамного, совсем ненамного, вы понимаете, какой убыток я терплю (фр.).

вечеринок на открытом воздухе. Эти маленькие гречанки все сделают, будет прямо как в Vogue».

Неужели страдание вызывает тошноту? Откуда мне знать? Я никогда не страдала, никогда не сокрушалась от горя. Это очень точное образное выражение: чувствуешь себя как рухнувшее дерево с вывороченными корнями. Не живое. И не мертвое.

Дует хамсин. Окна пришлось затворить. Горячий ветер громыхает ставнями, а мальчику-судомойке приходится подметать пол в холле по три раза на дню.

Карта на стене в комнате прессы утыкана флажками: красными, зелеными, желтыми, синими, коричневыми, белыми. Контуры ландшафта пестрят бригадами и дивизиями. Указка пресс-атташе движется между ними, приводя все к простому и изящному знаменателю. Грохот, дым, духота, пыль, плоть, кровь и железо остались за скобками, все так просто, что понял бы ребенок: маневры, диспозиция, фланги и захват в клещи, линии и корпуса.

Есть край благословенный
За скорбной той землей, —
поет набожная паства. Голоса женщин

звучат громко, явственно как подобает их расе и классу; слышны также теноры и баритоны, уверенные, но без напора: —

Его печаль и бренность
Обходят стороной.[98]

А потом они заканчивают петь и молятся, молятся Царю царей. Затянутые в перчатки руки прижаты ко лбу, одно колено упирается в каменный пол; они кротко взывают к Нему, дабы Он смирил гордыню их врагов, обуздал их злонравие и привел их в смятение. Помолившись, поднимаются, украдкой одергивают складки на брюках и разглаживают шелковые юбки, и снова поют:

Солдаты-христиане
Уходят на войну.

«Тебе надо немного развеяться, — говорит Камилла, — поезжай на несколько дней в Александрию. Ты, похоже, совсем вымоталась, у тебя все время ужасно усталый вид. Там есть такой миленький пансион у склона горы, я дам тебе адрес».

Это похоже на дорогу. Словно удаляешься от

[98] Примечания: 98
Один из гимнов Генри Уильямса Бейкера (1821–1877).

того, что было, и оно становится все менее явным, менее живым, более горьким, как память о покинутом доме. Словно лезвие ножа повернули по-другому.

Но теперь есть еще кое-что, о чем можно думать. Сначала — удивленно, потом — с тревогой, с изумлением, потом с благоговейным страхом.

«Ох, господи, — говорит Камилла, — ну, мне в самом деле казалось, что ты вроде немножко пополнела, и ты все время была такая понурая… теперь понятно… Надо же, никогда бы не подумала, что ты… Я хочу сказать, ты же не такая, как Люси Пауэрс или малышка Гамильтон, — если б они, никто бы и не удивился, но ты, Клаудия… Ну надо же, какая неудача. Как не повезло-то. Но почему ты не… ты ведь могла бы… Ты что, хочешь *рожать*? С ума сойти! Какая же ты храбрая!». — Она удивлена до крайности, это самая удивительная вещь, какую ей доводилось слышать в последнее время.

Лечебница окружена большим тенистым садом. Гравийные дорожки петляют между пальм — приземистых, одомашненных, с рельефными стволами — и казуарин. Ходячие пациенты также петляют, а другие — полулежат в плетеных креслах на лужайках и веранде под присмотром

сиделок. Все сиделки затянуты в накрахмаленные, ослепительно белые одеяния, как монашки какого-нибудь тайного ордена. Кроме того, всех их отличает какая-то неиссякаемая бодрость. Клаудию передают на попечение веснушчатой ирландки. Хрустя накрахмаленными юбками, она ведет ее по коридорам к лифту.

— Дальше ни шагу, милая. Мы в одно мгновение доставим вас наверх и уложим в кроватку. Как вы себя чувствуете, неплохо? Сейчас не очень болит?

— Со мной все хорошо, — отвечает Клаудия, которой нехорошо. В действительности ей очень больно, и она сжимает живот в надежде, что боль отступит.

По коридору несется детский плач. Они проходят мимо двери с большим стеклянным экраном, через который видны ряды кроваток. Клаудия останавливается.

— Не сейчас, — говорит сиделка, — лучше будет, если вы ляжете в кровать. — В ее бодром голосе невольно проскальзывает тревожная нотка. — Нет, нет, все хорошо, миссис Хэмптон, через несколько месяцев мы и вашего ребеночка положим в такую кроватку.

— Мисс, — откликается Клаудия. — Не миссис.

Она смотрит через стеклянный экран. Видны только головки детей, одни с хохолком волос, другие — нет, так что они похожи на кусочки красной плоти поверх белых свертков.

— Почему все кроватки поставлены ножками в банки с водой?

— Это из-за муравьев. Если этого не делать, муравьи доберутся до деток. Такая уж это ужасная страна. Климат и насекомые — никогда ничего подобного не видела. — Сиделка берет Клаудию за руку, стараясь доверительностью победить ее беспокойство. — Вы, наверное, и не поверите, но мне рассказывали — это было еще до того, как я пришла сюда, несколько лет назад, — говорили, что одна девушка не поставила банки с водой, и одного малыша нашли мертвым. Муравьи добрались до него. Выели ему глазки. Так его и нашли: без глазок, и повсюду муравьи.

Клаудия отодвигается, замирает на мгновение, будто задумавшись, и вдруг наклоняется к ведру с песком, куда положено бросать окурки, к горлу подкатывает тошнота, и она извергает все содержимое желудка в ведро, содрогаясь, не в силах остановиться.

— У вас угроза выкидыша, голубушка, — говорит сестра. Думаю, вы это понимаете. Мы

постараемся, чтобы все прошло как можно легче. — Она смотрит на Клаудию сверху вниз, лицо у нее совершенно невозмутимое, профессиональное лицо. — Думаю, — продолжает она, — что, учитывая все обстоятельства, вы сами решите, что так лучше. Скоро к вам подойдет доктор.

Клаудия лежит на спине, ноги у нее скрещены. Какое-то животное пожирает ее внутренности. Она вглядывается в стоящую рядом женщину и вдруг рывком садится на кровати…

— Нет, — шепчет она. Ей хочется кричать, но из горла вырывается хрип: — У меня не будет выкидыша. Так не будет лучше, и вы не должны были это говорить. Вы должны что-то сделать.

Брови сестры поднимаются чуть ли не до кромки ее накрахмаленного чепца.

— Боюсь, с природой в этом случае нам не тягаться, — говорит она уже не так бесстрастно.

— Так сделайте что-нибудь, черт вас возьми, — рычит Клаудия, — я хочу этого ребенка. Если вы его не спасете, я вас… я вас… — она откидывается назад, слезы щиплют глаза, — я вас убью… я убью вас, дура вы старая.

Спустя несколько часов, когда убраны тазы с водой, ведра и простыни, она вдруг сознает, что снова кричит, кричит и проклинает всех вокруг.

— Это не мальчик и не девочка, — говорит ей сестра. — Все в прошлом. И лучшее, что вы можете сделать, — обо всем забыть.

11

Плодом войны является хаос. Взять хоть неправильное словоупотребление: плод — это нормальный ботанический термин, с конкретным значением: часть растения, развивающаяся из завязи и содержащая семена. Получается, что из семян войны должна развиться другая война. На деле же война порождает стремление подсчитать все, что не поддается исчислению: ресурсы, живых и мертвых, беженцев, возвращающихся в свои дома, степень вины, наказания и, наконец, историю. Только когда все будет зафиксировано, мы наконец узнаем, как все было на самом деле.

В 1945 году я побывала в лагере для перемещенных лиц. Мне предстояло написать очерк для «Нью стейтсмен». Лагерь был где-то на германско-польской границе, в одном из тех мест Европы, где национальность не имеет значения, а ландшафт такой неопределенный и заурядный, что, кажется, не имеет лица. Вы все время находитесь словно на раскрытой ладони: ни конца ни края, только небо и горизонт. За эту землю сражались веками, ее вдоль и поперек истопта-

ли солдатские сапоги. Когда-то здесь, наверное, были луга и хутора, коровы, цыплята и дети. После пяти лет войны вокруг лишь пустошь, а посреди лагерь: бесконечные ряды одинаковых цементных корпусов, между которыми бродят люди — бродят или же выстраиваются в очередь для очередного собеседования с очередным усталым чиновником, нагруженным ящичками с учетными карточками. Я присутствовала на одном из таких собеседований. Большинство людей были старыми — или казались старыми, их лица почти ничем не напоминали фотографии в учетных документах. Были, правда, и молодые — крестьянские девочки, угнанные в трудовое рабство, их пухлые деревенские лица выглядели серыми и изможденными, семнадцать лет превратились в сорок. До того, как они начинали говорить, ни за что нельзя было угадать, какой язык услышишь: литовский, сербскохорватский, украинский, польский, французский… Переводчики выбивались из сил. Я разговаривала со старой женщиной, полькой по национальности, но изъяснявшейся по-французски с аристократическим салонным выговором. Поношенное серое пальто, голова повязана шалью, от нее слегка пованивало, но в речи ее слышалось эхо благо-

получного дома, хрусталя и столового серебра, уроков музыки и гувернанток. Ее муж умер от тифа, одного сына убили нацисты, другой погиб в трудовом лагере, невестка с детьми пропали без вести. «Je suis seule aumonde,[99]- говорила она, неотрывно глядя на меня, — seule au monde…» А вокруг нас бесцельно бродили люди — или терпеливо стояли в нескончаемых очередях.

Я написала очерк для «Нью стейтсмен»; кажется, упомянула в нем ту польку. Вероятно, они куда-нибудь ее распределили, подобрали для нее подходящую страну, отметили карточку. Она не стала одной из тех, кого преследовали за национальность или кто пропал без вести и чьи поиски длились годами, — поволжских немцев, крымских татар. Про нее, но крайней мере, было известно, кто она и откуда.

Повезло тому народу, у чьей страны есть четкие границы. В особенности же повезло островным государствам. Помню, что об этом я думала в сорок пятом, когда впервые после стольких лет увидела холмы Дувра. Вот они, эти холмы, воскрешающие в памяти Шекспира, сухой скрип мела по школьной доске и песню о синей птице. Сей-

[99] Примечания: 99
Я одна на свете (фр.).

час на вершинах виднелись блиндажи и колючая проволока. Повсюду были демобилизованные солдаты, их сразу можно было отличить по дурно сидящим новеньким гражданским костюмам; каждый был чем-то недоволен. Если это была победа, то на первый взгляд она того не стоила. Я села в поезд, который тронулся; он шел через Кент; окна были все еще частично затемнены, но краска слезала широкими полосами, так что в образовавшихся прогалинах мелькал пейзаж. Я думала о тех мощных холмах.

Гордон встречал меня на вокзале «Виктория». В костюме демобилизованного, с агрессивно короткой стрижкой и отметиной на щеке, которую заметила только я.

Она заметила его на платформе. Казалось, там нет никого, кроме них двоих. Не дойдя до него нескольких шагов, она помедлила: он тот же и не тот, самое знакомое лицо на свете, и в то же время — лицо незнакомца. В нем появилось нечто новое. Расстояние между ними подтверждает это: она не может заставить себя пройти эти пять шагов по серой платформе. Сделать это — означает вернуться к прежней Клаудии, прежнему Гордону. Но прежних Клаудии и Гордона не существует, они исчезли, как исчезло знакомое

выражение лиц, и на их место пришли другие. Она удивлена и встревожена. Она ищет знакомые сигналы. И когда делает все же пять шагов по платформе и притрагивается к нему, сигналы появляются, как вспышки. Но они еле заметны, слишком многое заслоняет их.

Он видит, что она маленькая, худенькая и рыжеволосая. Одета не в тусклое потрепанное барахло, как все прочие на ней яркое оранжевое пальто, явно не английское, на голове маленькая шляпка с пером. Он заметил ее сразу, но не сразу понял, что это Клаудия (другие тоже поглядывали на нее, а некоторые открыто глазели). Она шла к нему, не махая рукой, не улыбаясь, и вдруг остановилась. Если бы не глаза, неотрывно смотревшие на него, он бы решил, что она его не узнала.

А потом она шагнула вперед и поцеловала его. От нее пахло чем-то дорогим и иностранным, но за ароматом «Шанель», если это были «Шанель», ощущалось волнующее веяние воспоминаний. Что-то всколыхнулось в нем, напомнило о пережитом. А Клаудия между тем спросила о шраме у него на лице.

— А… старая боевая рана. Какая-то индийская кожная пакость. Что, так заметно? Зато ты, рад отметить, совершенно невредима.

— Да? — говорит она. — Вот и хорошо.

— Но у тебя рыжие волосы. А были каштановые.

— Мои волосы всегда считались рыжими. Это ужасно не нравилось маме, помнишь? Как она?

Мы пошли в какое-то кафе и пили крепкий вонючий чай из кружек с толстенными стенками. Я все смотрела по сторонам: Лондон, здания, люди, такси и автобусы — все это было не вполне реальным, как и сам Гордон, словно вдруг проявился выдуманный ландшафт. Только бомбоубежища и развороченный дом с выставленными на всеобщее обозрение каминами и призраками лестниц давали понять, что время и здесь не стояло на месте. Но я по-прежнему чувствовала себя иностранкой, а не вернувшейся домой англичанкой.

Мы поговорили. Мы рассказали друг другу все, что собирались рассказать, о том, что видели и делали, где были, с кем встречались. Я вдумывалась в пропуски в рассказах Гордона, а он, должно быть, вслушивался в умолчания в моих. Спустя час мы вернулись на пять лет назад в прошлое, — точно так же спорили, соперничали, стремились завладеть вниманием друг друга. Я узнала, что у Гордона в Дели был роман с американкой. «Почему ты на ней не женился?» — спросила я. Он

засмеялся и ответил, что у него не было времени. Он собирался вернуться к научной работе, которой занимался до войны: отовсюду получал предложения о сотрудничестве и намеревался с головой окунуться в дела.

Спустя год он встретил Сильвию. К Сильвии я его никогда не ревновала. Это было бы смешно. А вот та неизвестная американочка пробудила во мне неприятные ощущения. Примерно с год я время от времени пыталась себе представить, какая она.

Я дожила почти до тридцати лет, и ни один мужчина не уделял мне столько внимания, сколько Гордон. Поэтому, наверное, между нами и возникло то, что возникло. Каждого встреченного мужчину я сравнивала с ним, и все они ему уступали — в знаниях, в остроумии, в привлекательности. Я прислушивалась к себе, не вызовут ли они у меня тот радостный трепет, который вызывал Гордон, но ничего подобного не было. К несчастью, выходило так, что не было человека на земле, который подходил бы мне больше, чем мой брат.

Инцест сродни нарциссизму. В ранней юности, распираемые самомнением и сексуальностью, мы смотрели друг на друга и видели иную

ипостась себя. В мужской привлекательности Гордона я видела отсвет себя самой — и по тому, какие взгляды он бросал на меня, понимала, что и в нем происходит узнавание. Мы отражали друг друга, как зеркала — бесконечный ряд уходящих вдаль отражений. Для разговора друг с другом мы использовали тайный язык. Другие люди на несколько лет стали для нас чернью. А мы, двое, были аристократами.

Классная комната переоборудована в танцевальную студию: диван и стулья отодвинуты к стенам, ковер скатан, на стареньком, крытом сукном столике — граммофон.

От Гордона пахнет мужчиной. Прижимаясь грудью к его рубашке, щекоча пушистыми волосами его щеку, она ощущает этот крепкий мужской запах, почти незнакомый, словно и не Гордон это, а кто-то другой. Ощущение очень приятное, и в ней поднимается новое, совсем незнакомое, необычное чувство.

«Медленно, быстро, быстро, медленно… другую ногу, дуралей… давай все снова».

В Кембридже сейчас все увлеклись рэгтаймом, говорит Гордон. Но это же скучно. И чарльстон не лучше. Что скакать как дурачки? Нет уж, единственная стоящая вещь — это медленный

фокстрот. И еще квикстеп. Главное — это выглядеть лучше всех и танцевать так, чтобы все другие отошли в сторонку и предоставили зал им. Этого они и хотят добиться — у Моулсвортов, на следующей неделе.

«Когда я сожму твою спину крепче, пойдем назад. Ну, начали…»

Теплая, твердая рука Гордона обнимает ее поясницу, и они идут, мастерски покачиваясь, бедро к бедру. Медленно, быстро, быстро, медленно. «Оч-чень хорошо, — говорит Гордон, — оч-чень стильно… ну-ка, давай еще раз». Медленно, быстро, быстро, медленно. Через всю комнату, снова и снова, с каждым разом все лучше, двигаясь, как одно тело. Секундная отлучка к граммофону, когда заканчивается пластинка… и снова тело к телу, бедро к бедру… о господи!.. Давай, не будем останавливаться, у нас получается все лучше и лучше, давай никогда не останавливаться…

И они не останавливаются. Сумерки заполняют комнату, они прерываются только для того, чтобы сменить пластинку или завести граммофон, не говоря ни слова. Блаженство, думает Клаудия… Господи, что за блаженство!.. Она наслаждается этим необычным ощущением, этим восторгом… Она никогда не испытывала этого прежде. Что

это?

Они наконец останавливаются возле окна, в прохладных синеватых сумерках, и смотрят друг на друга. Их лица так близко, они почти соприкасаются. И они соприкасаются — его рот с ее ртом, его язык между ее губами. Игла граммофона попадает в ложбинку, и одна и та же нота, заикаясь, звучит снова и снова,

«И еще кое-что, — говорит мама. — В четверг у Моулсвортов ты танцевала только с Гордоном. Миссис Моулсворт сказала, что дело не в том, что тебе не хватало партнеров, она сказала, что Николас приглашал тебя по крайней мере дважды, и еще Роджер Стронг. Это так невежливо. И Гордон, похоже, ни разу не пригласил Синтию Моулсворт. Вы уже слишком взрослые, чтобы так себя вести».

Она лежит в траве на берегу реки, совершенно обнаженная. Тень от ветвей ивы украшает ее тело затейливым узором. Гордон поднимается из воды, вылезает на берег и садится рядом с ней. Бедра у него испачканы в глине, волосы прилипли к голове. Спустя минуту он берет свой пиджак, достает из кармана ручку. Он обводит тень листьев на ее животе, руках, ногах, груди; вот она уже вся в синих чернильных разводах.

— И как, спрашивается, я должна это смывать? — говорит она

— Не будь такой прозаичной, — отвечает Гордон. — Это же искусство. Я превращаю тебя в objet trouve…[100] Ну-ка перевернись.

Она переворачивается на живот и смеется, перо ползает по ее спине, как насекомое.

«Что-то вы сегодня оба такие молчаливые, — говорит мама. — Гордон, передай мне джем, пожалуйста. Да, Клаудия, милая, я думаю, что то платье, которое ты надевала вчера вечером, для здешних мест не совсем годится. Надевай его в городе, если это так необходимо, но для деревни это явно не то. Люди ведь смотрят».

«Хорошая подача, — говорит Гордон. — Сорок — ноль». Когда они проходят рядом, он шепчет: «Теперь залупи ей слева».

Они побили всех. Остальные участники турнира с неудовольствием на них поглядывают, сидя меж розовых кустов. Клаудия медленно идет к задней линии корта, любуясь своими загорелыми ногами. Затем она поворачивается и несколько мгновений медлит с подачей, наслаждаясь стоящим к ней спиной Гордоном, его фигурой, тем,

---

[100] Примечания: 100
Здесь: шедевр (фр.).

как лежат на воротнике его волосы.

«Дети на несколько дней уехали в Париж, — говорит мама. — Вообще-то, я думаю, что Клаудия еще недостаточно взрослая для такой поездки, но Гордон за ней присмотрит».

— Это перно,[101] — говорит Гордон. — Тебе непременно понравится, когда ты привыкнешь. Нельзя прийти сюда и не попробовать перно.

Они поднимаются, и она осознает, что плывет, не идет, а плывет вниз по улице, держась за его руку.

— Нам надо приходить сюда чаще, — говорит она.

— Конечно, — отвечает Гордон. — Все цивилизованные люди проводят во Франции уйму времени.

У него день рождения, ему исполнилось двадцать.

«Клаудия собралась в Оксфорд, — говорит мама. — Конечно, сейчас это не редкость, она ведь из тех девушек, которые сами выбирают свою дорогу».

Лето. Два лета, возможно, и еще зима. Время стерлось из памяти или, может, не стерлось, но

---

[101] Примечания: 101
Анисовый аперитив.

съежилось до размеров бусины в ожерелье времени, одного из тех моментов, когда мы делали то или это, говорили одно или другое, были там или здесь. Когда мы вместе были дома, танцевали в классной комнате, поглощенные друг другом, а мама в это время напевала себе под нос, как она это обычно делала, занимаясь цветами. Или в комнате Гордона в Кембридже. Или в театре в Лондоне. Или когда бродили по окрестностям Дорсета, высокомерно скучая. Меня не удивляло, что люди смотрели на нас с неодобрением. Год, ну, может, два… А потом нам обоим стало не хватать друг друга, мы начали смотреть по сторонам, обратили внимание на презренную чернь. То время прошло, но навсегда определило наши отношения друг с другом. Другие люди по-прежнему оставались в стороне. Большинство из них никогда об этом не узнали, только Сильвия, глупая Сильвия ощутила мимолетно, но так и не поняла что. Позже, значительно позже.

В воскресенье на обед жареный цыпленок, хлебный соус, рулетики с грудинкой, гарниры… Мама доблестно все приготовила сама, изредка бормоча самоуничижительные комментарии. После дезертирства последней из деревенских помощниц бесстрашная мама научилась готовить

сама. Клаудия подарила ей на Рождество книгу Элизабет Дэвид «Французская провинциальная кулинария», принятую вежливо, но без энтузиазма. Ни coq au vin,[102] ни quiche lorraine[103] так и не появились на обеденном столе в Стэрминстер Ньютон.

«Это великолепно, миссис Хэмптон, — выдыхает образцовая невестка Сильвия. — Так вкусно! По-моему, вы просто молодец».

Мама сидит во главе стола, справа от нее Сильвия, напротив Сильвии — Клаудия, на дальнем конце стола — Гордон. Мама и Сильвия обсуждают хлебный соус, мясников и, уже приглушенным голосом, захватывающие подробности того, как протекает первая беременность Сильвии.

Клаудия слышит их разговор, как фоновый шум: жужжание мух или газонокосилки. Она не видела Гордона несколько месяцев; с тех пор остался неоконченным спор, который следует завершить, и появилась пара свеженьких, не совсем пристойных анекдотов, от одного из которых Гордон прямо-таки заходится смехом. Сильвия прерывает разговор со свекровью и

---

[102] Примечания: 102
Петух в красном вине.

[103] Примечания: 103
Яичница с сыром и беконом.

поворачивается к ним. В глазах у нее тревога. «Что за шутка? Расскажите-ка мне!» — кричит она, и Гордон, поднимаясь, чтобы взять себе еще цыпленка, отвечает, что так, пустяшная новость о том, кого они прежде знали, ничего особенного, и не нужно ли кому-нибудь добавки? «Вредина! — надувает губки Сильвия. — Клаудия, расскажи тогда ты мне». И Клаудия в первый раз внимательно смотрит на свою невестку, одетую в нечто, похожее на просторную цветастую наволочку, из которой выглядывает хорошенькое розовое личико, обрамленное золотистыми волосами. Сильвия не вызывает у нее ровным счетом никаких эмоций, кроме, разве что, некоторого недоверия. Порой она недоумевает, какие у них с Гордоном могут быть общие темы для разговора.

— Просто сплетня, — отвечает она, — ерунда, правда.

Сильвия поворачивается к свекрови:

— Они всегда были такие, миссис Хэмптон? Так друг за дружку?

— О нет, — спокойно отвечает мама, — они ужасно ссорились.

— Вот и мы так же! — кричит Сильвия. — Мы с Десмондом. Мы друг друга терпеть не могли. У нас абсолютно нормальные отношения, и сейчас

тоже. Нет, я, конечно, люблю Десмонда, но у нас с ним ничего общего.

Гордон, взяв добавки, усаживается на свое место:

— В таком случае, мы с Клаудией впредь будем себя вести ненормально только с глазу на глаз, да, Клаудия? А сейчас, если хочешь, можем устроить для тебя хорошенькую ссору.

Сильвия в волнении начинает щипать себе руки и еще больше пунцовеет.

— Господи, конечно, я не это имела в виду, не то, что вы странные, просто это же удивительно, когда брат и сестра такие близкие друзья, — это на самом деле просто замечательно!

Все то время, что Сильвия разговаривала с миссис Хэмптон, она слышала их разговор, но, к ее великой досаде, не могла расслышать хорошенько. У Гордона возникают интонации, с какими он больше ни с кем не разговаривает. Звучный голос Клаудии может быть таким язвительным, выводящим из равновесия, но в беседе с Гордоном ее тон становится доверительным. Когда она пытается присоединиться к их беседе, они замолкают, Гордон меняет тему, предлагает всем добавки.

Клаудия одета в красное платье, в талии и бедрах очень узкое. Она очень стройная и худень-

кая. «Мне нравится твое платье, — решительно говорит Сильвия, — а вот я в такое не влезу». Она гладит живот и смотрит на Клаудию: та не замужем и не ждет ребенка. Она чувствует свое превосходство, которое ее немного утешает. Защищенная своим животом, она принимается шутить, спрашивает миссис Хэмптон (она такая славная, с ней никогда никаких недоразумений) о том времени когда Клаудия и Гордон были детьми, весело рассказывает о себе и Десмонде. А потом Гордон что-то отрешенно отвечает Клаудии, словно случайно встреченной знакомой, и она уже не чувствует себя защищенной, ее торжество испаряется. «Я совсем не хотела сказать, что это странно, — протестует она умоляюще, — на самом деле это замечательно». Опять она сказала что-то не то. Теперь они смотрят на нее оба, Гордон и Клаудия, она наконец-то завладела их вниманием, но совсем не в том смысле, в каком хотела. Уж не смеются ли они над ней? Кажется, в уголках губ у обоих прячется улыбка.

— Бог мой! — произносит Клаудия. — Ты говоришь об этом как о чем-то экстравагантном. А мы вряд ли когда-нибудь были так уж экстравагантны, правда, Гордон?

— Ты имеешь в виду инцест? — отвечает Гор-

дон, с энтузиазмом принимаясь за цыпленка. — Инцест, конечно, несколько экстравагантен. Ну, хотя бы классический. Высшего класса. Посмотри на греков.

— Посмотри лучше на Нелли Фробишер из деревни, — говорит Клаудия. — Понесла от своего отца, когда ей не было еще семнадцати. Доктор Граб говаривал, что крестьян из центрального Дорсета он всегда узнает по форме черепа.

— Клаудия, ну хватит… — восклицает миссис Хэмптон.

Сильвия больше не может этого выносить. Ей вдруг становится нехорошо. Она отодвигает стул, кладет руки на животе и с достоинством говорит, что ей надо прилечь, она уверена, что ее извинят.

Поднимаясь по лестнице, она слышит, как миссис Хэмптон отчитывает Клаудию и Гордона.

12

— Спасибо, Джаспер, — говорит Клаудия. — Красиво и дорого. Сразу видно, что куплены у Фортнума.[104] Поставь на столик, нянечка будет поливать цветок и увидит.

Она садится прямо, откидывается на подушку. Прямо перед ней — наклонный пюпитр, бумага и ручка.

— Ты что-то пишешь, — констатирует Джаспер. Он откидывается на спинку прикроватного стула, который предательски скрипит. Джаспер сейчас — фигура солидная, во всех смыслах. — Что ты пишешь?

— Книгу.

Он улыбается. Снисходительно? Недоверчиво?

— Какую?

— Историю мира, — отвечает Клаудия, поглядывая на него. — Много о себе возомнила, верно?

— Нет, отчего же, — говорит Джаспер, — я с удовольствием ее прочитаю.

Клаудия смеется:

---

[104] Примечания: 104

«Фортнум энд Мэйсон» — известный и очень дорогой лондонский бакалейный магазин.

— Это вряд ли, и по многим причинам.

Повисает тишина.

— Не хочу сидеть без дела, даже когда, по всей вероятности, умираю, — добавляет она.

Джаспер делает протестующий жест:

— Вздор, Клаудия.

— Ну, поживем — увидим. Скорее, ты увидишь. Ну что же. А ты все так же делаешь дорогие пародии на правду? «Жизнь Христа» в шести актах — верно ли то, что я слышала? С перерывами на рекламу.

Джаспер открывает рот, чтобы что-то сказать, переводит дух, молчит. Затем говорит:

— Клаудия, сейчас не время и не место. Давай уже заключим мир. Я пришел просто проведать тебя, а не устраивать дуэль.

— Как хочешь, — отвечает Клаудия. — Я подумала, что это могла бы быть хорошая терапия. Мне сказали, сегодня у меня хороший день. Мне всегда нравились дуэли с тобой, а тебе разве нет?

Он обворожительно, умиротворяюще улыбается.

— Я ни о чем не жалею, дорогая. А уж о проведенном с тобой времени меньше всего.

Клаудия внимательно смотрит на него:

— Вот в этом я с тобой соглашусь. Сожаления

бессмысленны. потому что бесполезны: вернуть ничего нельзя. Бить себя в грудь способен только ханжа. Хочешь чаю? Позвони в колокольчик.

Наверное, потому я чувствую совместимость с ним, что меня всегда привлекали люди, умевшие эксплуатировать исторические обстоятельства. Политики-авантюристы, вроде Наполеона и Тито. Средневековые папы, крестоносцы, колонисты. Я не испытываю к ним симпатии, но не могу не испытывать интереса. Меня всегда интриговали купцы и поселенцы, бесстрашные и беспощадные корыстолюбцы, ввергавшие себя в распри и осваивающие новые пути, проложенные политиками и дипломатией. Я не могла удержаться от того, чтобы со скрупулезным вниманием изучать историю торговли специями, мехами, историю Ост-Индской компании.[105] Всех этих людей с маленькими блестящими глазками, бродяг с преступными наклонностями, неугомонных обитателей шестнадцатого, семнадцатого, восемнадцатого веков, рисковавших жизнью и подставлявших карман под брызги истории.

Жадность — интересное свойство. Джаспер жаден. Он любит деньги сами по себе, не ради

[105] Примечания: 105

Акционерное общество, созданное в 1600 году указом Елизаветы и получившее, фактически, монопольное право на торговлю с Индией

того, что они могут дать, а из чистой жажды обладания этими бумажками и кусочками металла. Алчность, предметом которой является счет в банке и пакет акций, понять труднее, чем страсть елизаветинского торговца, трясущегося над тюками с корицей, гвоздикой, мускатным орехом и, возможно, слитками золота под половицами. Поскольку сегодня мы не имеем более зримого свидетельства благосостояния, чем счет в банке и пластиковый прямоугольничек в бумажнике, следует предположить, что газетные истории о кладах — горшках с монетами, вывернутых из земли лемехом плуга, сундуках с дублонами, поднятых со дна Солента, — пробуждают в нас атавистический инстинкт. Все мы чувствуем легкий трепет при мысли о золоте и серебре и прикрываем вожделение флером респектабельности, рассуждая об уважении к прошлому. Вздор. Для англосаксов или средневековых моряков это не имело ровным счетом никакого значения — их интересовали деньги, чистоган: гинеи, песо, соверены, слитки, — то, что можно пропустить сквозь пальцы, пересчитать, ощутить в ладонях тяжесть, прятать где-нибудь у себя под кроватью.

Джаспер сумел обратить войну в свою пользу.

Сначала убедился, что она не угрожает ему и даже не причиняет особенных неудобств, а затем ринулся делать карьеру. Он взлетел по служебной лестнице, оставив позади многих современников, и, надо признать, внес свою скромную лепту в дело победы. Он, конечно, патриот, наш Джаспер, только на свой лад.

Меня могут спросить: почему, если я такого мнения о Джаспере, я какое-то время была с ним? Но разве, выбирая партнера по сексу, мы руководствуемся разумом или опытом? С Джаспером было хорошо в постели и увлекательно вне ее. К тому времени, как он стал отцом Лайзы, нас связывало много хорошего. И плохого.

— Я ухожу из министерства, — говорит Джаспер.

Они едут в легковом автомобиле по Нормандии. Ландшафт, думает Клаудия, совершенно архетипический, какая-то воплощенная коллективная мечта о французскости, фермах, коровах и яблонях, о прошлом, о том, каким мир должен быть, но не является. Мечта, несомненно, обитаемая, вот и я сижу рядом с Джаспером в его не совсем новом «ягуаре», в то время как за окнами проносится Средневековье, дополненное замками, бензоколонками, тракторами и старенькими,

подвязанными тросом «ситроенами».

— Серьезно? И почему же?

— Они хотели отправить меня в Джакарту.

— Бог мой. В качестве посла, я полагаю?

— Нет, не в качестве посла, — отвечает Джаспер, обгоняя телегу и грузовик и держа курс на тополиную аллею; справа проносится церковь с входом в романском стиле, слева — обклеенный рекламными листками кабак.

Клаудия смеется:

— Да уж, думаю, торговый атташе в Джакарте — это не совсем то, что надо. И кому же ты насолил в министерстве?

— Моя дорогая девочка, такие дела так не делаются. Есть продвижение по службе. Утомительное и кропотливое продвижение, к которому я совсем не готов.

— Понятно. И что же ты будешь делать?

— Я пока примериваюсь. Стоит подумать о телевидении. Я могу делать колонку для «Таймс». И еще НАТО.

— А… — откликнулась Клаудия, — НАТО. Вот почему мы здесь.

— Точно, — он сжал ее колено, — и кроме того, это повод нам с тобой попутешествовать. Мы не так уж часто это делаем. Ну вот, кажется, мы

приехали.

Он сворачивает и въезжает в большие ворота, за ними начинается обрамленная деревьями дорожка, ведущая к парковке. Из-под колес летит гравий. Табличка на воротах так понятно и со вкусом оформлена, что Клаудия, едва взглянув на нее, уже знает, как называется по-французски, по-английски и по-немецки какой-то там конференц-центр.

— А в каком качестве ты здесь, чтобы я знала?

— Я наблюдатель. Делаю материал для «Спектейтор».

— А я?

— Ты мой секретарь.

— Нет, черт возьми, — отвечает Клаудия, — можешь остановить прямо здесь.

Она распахивает дверцу, «ягуар» виляет носом и замедляет ход.

Джаспер наклоняется к ней:

— Не будь идиоткой. Закрой дверь. Я шучу. Но надо мне как-то тебя представить? Как подругу? Как любовницу?

Они едут быстрее, Клаудия наполовину высунулась из машины, он держит ее за руку.

— У меня есть имя, не так ли? — огрызается она. — Отцепись от меня.

Он тянет. Она сопротивляется. Вдруг он замечает в зеркале заднего вида удивленные лица водителя и пассажира автомобиля, едущего за ними. Он рывком сажает Клаудию на место, захлопывает дверцу и трогается вперед с таким остервенением, что Клаудию вжимает в спинку сиденья.

— Дорогая, ты с ума сошла. К чему эта сцена? Мы здесь, чтобы повеселиться, вот и все.

— Что-то мне не очень весело, — отвечает Клаудия, но она уже успокоилась; мельком глянув на нее, он замечает эту перемену настроения, столь обычную для Клаудии. Похоже, что ее вниманием завладел показавшийся за поворотом дороги замок.

Живописный вид дополняют крепостной ров, водяные лилии, лебеди и множество лоснящихся представительских авто, припаркованных на аккуратно посыпанной гравием площадке перед замком. Джаспер чувствует, как воспаряет его дух: водители в униформе, машины, недоступные для простых смертных, государственные флаги и весь антураж власти возвращают его в военные годы, когда он сам был в гуще всего этого. Пожалуй, работа в НАТО — то, что ему нужно. По имеющимся сведениям, здесь можно

занять достаточно значительную и вместе с тем неопределенную должность, в которой можно поболтаться, пока не отыщется что-то по-настоящему интересное. И уж он-то сможет найти такую должность, если возьмется за дело с *умом,* конечно. Мысленно он прикидывает список лиц, с которыми нужно будет переговорить по возвращении в Лондон. Сейчас же предстоит прекрасная возможность познакомиться с людьми из влиятельных кругов — осмотрительно и выгодно преподнести имеющийся опыт, сдержанно, остроумно и значительно пообщаться на четыре языках. Перспективы начинают его возбуждать. Сейчас он конечно, будет очень занят. Может, и не стоило брать с собой Клаудию. Хотя, конечно, Клаудия, когда она не упрямится, может принести немалую пользу. Люди замечают Клаудию. Люди замечают того, с кем приходит Клаудия: мужчины завидуют, женщины запоминают.

Замок вызывает в памяти скорее мир Уолта Диснея, нежели эпоху Людовика Тринадцатого. Направляясь к нему, Клаудия рассматривает нелепые конические башенки, чистенькие кремовые стены, лилии во рву и продолжает осматриваться поднимаясь по каменным лестницам к приготовленным для них комнатам.

Грандиозные залы, роскошные ковры, огромная гулкая столовая со стенами, увешанными старинным оружием, в каждой спальне ванная с душем и биде. Она взваливает чемодан на постель и подходит к окну, разделенному посередине вертикальной стойкой; во рву плавает лебедь со своим выводком.

— Все нормально, дорогая? — спрашивает Джаспер. — Хорошее местечко, правда? Я схожу кое-что проверить, встретимся внизу.

Клаудия берет брошюру с ночного столика и читает, что замок, вотчина герцогов де Роквилль, построен четыре столетия назад и ныне преобразован (с минимальным вмешательством в исторический облик здания) в Роквиллевский конференц-центр, который занимается проблемами послевоенного мира, специализируясь на проведении конференций экспертов из разных сфер: науки, политики, дипломатии, а также военной. Слог буклета одновременно пафосный и уклончивый: намеки на могущественную международную поддержку, попытки поразить читателя экономическим жаргоном и многословные высокопарности о мире, толерантности и надеждах человечества. Среди высокопоставленных посетителей Роквилля, начиная с его открытия

в 1948 году, были Черчилль, Джон Фостер Даллес,[106] генерал де Голль, профессор Джон Кеннет Гэлбрейт,[107] Даг Хаммаршельд.[108]

Клаудия переодевается и сходит вниз. На этой неделе эксперты из разных сфер собрались в главном зале для приемов, попивая аперитивы под хрустальными люстрами и клубящейся потолочной фреской, являющей шестнадцать сюжетов. Херувимы ведут упирающихся дам в дезабилье вокруг пушистых, словно усыпанных сахарной пудрой, облаков. Она медлит несколько мгновений перед тем, как войти, рассматривая сначала потолок и худосочную, с золочеными ножками, мебель, а уже затем экспертов. Мелькает военная форма (такого высокого ранга, что на него указывают лишь случайная ленточка или нагрудный знак), профессорский твид и дипломатическая полоска. Женщин мало — несколько строго одетых чопорных фигур, секретарского вида девицы,

---

[106] Примечания: 106

Джон Даллес (1888–1959), американский госсекретарь при президенте Эйзенхауэре.

[107] Примечания: 107

Джон Гэлбрейт (1908–2006), видный американский экономист-теоретик.

[108] Примечания: 108

Даг Хаммаршельд (1905–1961), второй по счету Генеральный секретарь ООН, швед по происхождению.

скромно жмущиеся по углам, известная итальянская женщина-политик, а также администратор, которая сейчас же устремляется к Клаудии с гостеприимной улыбкой. Клаудия осторожно отделяется от дверного проема и входит в толпу; на другом конце зала Джаспер разговаривает с какими-то американцами в военной форме. Она видит его, но идет к окну и останавливается рядом с мужчиной, который в одиночестве изучает потолок.

— Как неуместно, — говорит она, беря с подноса бокал.

— Напротив, — отзывается человек, — это мы неуместны. Роспись была здесь раньше нас.

Клаудия смотрит на него более пристально. Ничем не примечательный, невысокий, опрятно одетый мужчина, усы щеточкой. Таких никогда не замечаешь в толпе — может, поэтому он стоит один.

— Вы правы. Мне следовало выразиться по-другому.

Человек ставит свой опустевший бокал обратно на поднос, берет другой.

— Кто вы? — спрашивает он.

Клаудии хочется вспылить, но что-то в его облике заставляет ее ответить. Вопрос был задан

напрямик, но не грубо, а она одобряет прямоту. Она называет ему свое имя.

— Я читал вашу книгу. О Тито.

Клаудия заливается румянцем. Она довольно тщеславна (о, более чем!), еще не стяжала громкой славы и поэтому любит, когда ее узнают. Теперь все ее внимание, оставив за кадром бурлящую комнату, херувимов и дам в дезабилье, переключилось на собеседника. Его внешность — теперь она понимает это — обманчива, в нем чувствуются целеустремленность и непреклонность. Это человек, который привык задавать вопросы, получать ответы и приказывать. Она спрашивает, как его имя.

Джаспер все еще в наполненной клубами табачного дыма комнате. Он пьет виски с двумя американцами, англичанином, итальянцем и бельгийцем — людьми влиятельными и со связями. Он произвел на них — и понимает это — хорошее впечатление. Когда наконец они встают, оставляя пустые бокалы, полные пепельницы и углубления в кожаных креслах, он чувствует себя хорошо, просто прекрасно. Ему нужна Клаудия, которая ушла рано. Он видел, как за обедом она оживленно беседовала с каким-то мужчиной (настолько заурядным и не представляющим угрозы,

что можно было лишь великодушно улыбнуться), но когда он увидел ее немного позже, она сказала, что вроде как ляжет спать пораньше.

Еще раз подведя итоги дня, Джаспер пустился — слегка нетвердой походкой — по широким коридорам замка.

Клаудия лежит в постели с зажженным светом и книгой в руках. Книга — самообман, который больше не действует, поэтому она в конце концов выпускает ее из рук на пол. Она лежит в этой незнакомой комнате и страдает. Душа и тело надрываются от боли. Все, что ей удавалось заглушить, вдруг ожило. Она мучается от боли и оплакивает Тома. Он никогда не покидал ее, но чувства словно уснули, улеглись, отжив свой срок. И все же то и дело что-нибудь воскрешало их, и вот она снова вернулась на десять лет назад, в то каирское лето, вернулась с новым невыносимым знанием.

Напрасно она позволила себе говорить о войне. Напрасно. Это все вино, льстящее самолюбию внимание, вопросы и соблазн приумножить свои достижения.

А сейчас она слышит стук в дверь, и это может быть только Джаспер. Она вся напряглась. Тело Джаспера этой ночью было бы оскорблением.

Тело любого мужчины, кроме Тома. А Том мертв. Мертв уже десять лет.

Входит Джаспер, одетый в халат.

— Я боялся, что ты спишь. Я поговорил кое с кем. Прости, что бросил тебя одну, дорогая, должен был обедать с натовским генералом. А кто был твой собеседник?

— Человек, — говорит Клаудия, глядя в потолок.

Джаспер снимает халат и тянет одеяло.

— Нет, — говорит Клаудия. — Прости, Джаспер, не сегодня.

— В чем дело? У тебя месячные?

— Да, — отвечает она. Так проще.

Он не выпускает одеяло:

— Я не против.

— А я против. Пожалуйста, Джаспер, оставь меня.

Джаспер хочет возразить, но потом уступает. Голова его затуманена спиртным, желание начинает иссякать. Он зевает:

— Ну ладно, милая, я понимаю. Спокойной ночи. Хорошо что мы сюда приехали. Я, кажется, кое-что нашел.

— Вот как? — спрашивает Клаудия, не глядя на него.

Но в действительности, это я тогда нашла кое-что, даже не предполагая этого. Гамильтон, неприметный Гамильтон, которого Джаспер за весь уик-энд едва удостоил взглядом и с которым ни разу не заговорил, был владельцем газеты. Не имея блеска некоторых воротил с Флит-стрит, он был куда более сдержан, но ничуть не менее влиятелен, а заурядная внешность была благословением, позволявшим ему оставаться неузнанным. Так Джаспер упустил свою удачу. «Чем вы собираетесь заниматься?» — спросил меня Гамильтон. Я заговорила о Египте; он, как оказалось, читал некоторые мои очерки. Я сказала, что хочу писать книги по истории. «А вы не хотите подыскать себе еще какую-нибудь войну? В ближайшие несколько лет в них недостатка не будет». Я ответила, что никогда больше не хотела бы видеть войн. Еще я сказала, что не хочу заниматься журналистикой. «Жаль, — отозвался Гамильтон. — А я хотел предложить вам работу».

Пишите для меня время от времени, так он сказал. Пишите, когда захотите, о чем захотите, пишите предельно жестко, если хотите. Провоцируйте. Пускайтесь во все тяжкие. Заставьте людей говорить о том, что интересно вам. Вы это умеете.

Когда вышла моя первая статья — атака на последнюю работу ведущего ученого-историка, — Джаспер был изумлен. Вдобавок он чувствовал, что его обошли. На страницах одной из авторитетнейших британских газет красовалось мое имя, набранное крупным шрифтом. Как, пожелал он узнать, мне это удалось? Джаспер в свое время и сам подвизался в журналистике. «Гамильтон меня попросил», — ответила я. «Откуда ты вообще знаешь Гамильтона?» — «О, — небрежно бросила я, — мы познакомились с ним в Роквилле. Помнишь человека, с которым я беседовала за обедом?»

Джаспер так и не получил работу в НАТО. Вовремя сообразив, что такая должность может проложить дорогу к власти, но не к богатству, он выбрал более стандартный вариант: поучаствовал в разделе телевизионного пирога, вошел в совет директоров торгового банка. Он ревновал меня к моему успеху. Мужчины вроде Джаспера не любят женщин вроде меня, а лишь восхищаются ими и испытывают желание стать партнером такой женщины. В действительности же им по душе уступчивость и подчинение. Ему бы отлично подошла Сильвия.

Хватит уже о Джаспере. Есть, конечно, некая

занимательность и ирония в том, что именно Джаспер волею случая снабдил меня трибуной для публичных выступлений и, таким образом, косвенно ответственен и за многое другое. Но главным в том необычном визите были, конечно, не Джаспер и не Гамильтон, а само место, то, как оно выглядело тогда, наглядно демонстрируя, что история — это иллюзия. Там я пережила грубейшее оскорбление. Лежа в постели, я горевала о Томе, но днем, вслушиваясь в разговоры холеных, самодовольных мужчин и женщин, походя кроивших будущее и перекраивающих прошлое, я испытывала ярость. Сейчас, вспоминая это я уже могу цинично улыбнуться. Но тогда, в молодости — хотя я была не так уж молода, — мне хотелось обрушить на их головы их же собственную статистику, концептуальные проекты и расчеты. Сам замок был похож на декорацию к фильму, насмешку над собственным прошлым, легкомысленную, как херувимы и распутницы на потолке. Мне хотелось крикнуть, что история — это хаос, смерть и утраты. А вы сидите здесь, подсчитываете доходы и рисуете палочкой на песке.

13

— Как вы спали? — спрашивает сиделка.

— Так себе, — отвечает Клаудия. — Мне снился кошмар. Сейчас я припоминаю, что это был один из самых ужасающих моментов истории начала шестнадцатого века. Отступление испанцев из ацтекской столицы Теночтитлан.

— О, господи, — бормочет сиделка, встряхивая подушки, — посадить вас?

— По дамбе. Цоканье лошадиных копыт по булыжникам. Стрелы. Вопли. Кровь, сталь, мушкетный огонь. Дым. Пронзительные вскрики. И лодки, лодки, так и кишат, так и толкутся, вода как кипящий суп, индейцы лезут из лодок по обе стороны дамбы, штурмуют ее волна за волной. Испанцев тащат с коней, они катятся в воду, тут же скрываясь под навалившимися телами индейцев. Стрелы сыплются дождем. Страшный шум.

— Прямо как в кино, — говорит сиделка. — Так вы про это рассказываете.

— Интересно, что вы это сказали, — замечает Клаудия, — По разным причинам. Но во сне это было реальнее некуда, уверяю вас. Я сама кричала

и обливалась потом вместе со всеми. Интересно — тут, конечно, дали себя знать неисповедимые пути подсознания, — что вначале я видела как бы Темзу. Лондонский мост. Ветхие домики на консолях — и баржи лодки, еще какие-то суденышки, так что почти не видно воды. Похоже на какую-то картину, которую я когда-то видела но позабыла

— Со снами вообще забавно, — говорит сиделка, — вот у меня однажды…

Но в то самое время, как я благодушно наблюдала со стороны за картинкой в Лондоне, я каким-то образом стала непосредственной участницей сцены в Мексике. Это меня в любую минуту могли проткнуть, разорвать на части, вспороть живот, насадить на копье. Я сражалась, чтобы остаться в живых. Но вот кем я была — ацтеком или испанцем?

Сиделка, которая чувствует, что с нее довольно, приподнимает изголовье кровати, берет ворох наволочек и простыней и выходит из комнаты.

Свою книгу о Мексике я написала из недоверия. История Эрнандо Кортеса не могла быть правдой. Невозможно представить себе человеческое существо столь храброе, харизматичное, упорное и, по всей видимости, несокрушимое. Как мог этот алчный, лишенный воображения фанатик

вести несколько сотен солдат в чужую страну, о топографии которой он не имел ни малейшего понятия, чтобы, схватившись с народом, сделавшим убийство и жертвоприношение чужеземцев смыслом существования, захватить их столицу и пленить вождя? И преуспеть в этом. А когда удача все же отвернулась от него и он вынужден был убраться восвояси — построить тринадцать военных судов и протащить их сто сорок миль по горам, потому что город, расположенный посреди озера, можно было захватить, только имея превосходство в кораблях. И снова ему это удалось. И кто он, человек, сумевший задумать и воплотить все это, — герой или маньяк?

Прескотт,[109] всматривавшийся в Кортеса из Бостона 1843 года, считал его зеркалом своего времени. И написал о нем великую историю. Сама история была, конечно, еще и зеркалом личности просвещенного, мыслящего американца образца 1843 года. Точно так же, как моя книга была полемически заостренным самовыражением упрямой и независимой англичанки 1954-го.

Ничего удивительного, что тут не обошлось без подсознания и снов. Это был один из самых

---

[109] Примечания: 109

Уильям Прескотт (1796–1859). американский историк и литературовед, автор книги «История завоевания Мексики».

знаменательных примеров противостояния различных рас и культур в мировой истории. Помимо всего прочего, в нем просматривается смутное провозвестие грядущего — торжества технологий. По численности воинов Кортес уступал противнику в пятьдесят, сто, тысячу раз — но у него были панцири, порох, корабли и пушки. А главное, он знал, чем обладает, а ацтеки этого не знали. И поэтому они, никогда не видавшие лошадей, верили поначалу, что испанские всадники — это волшебные существа, подобные кентаврам. А еще они считали испанцев бессмертными, и те поддерживали в них эту веру, хороня своих убитых ночью, тайком. У Кортеса были технологии, а еще у него было то, что Прескотт называл «тусклым светом разума». Тусклым — по сравнению с серединой девятнадцатого века? Или из-за того, какие цели он преследовал? Так или иначе, ацтеков он прямо-таки ослепил. Их конфедерация треснула под натиском нескольких сотен алчных фанатиков и авантюристов; армии, города — весь их хрупкий мир был потрясен до основания. В Мексику пришла цивилизация.

В сущности, это была победа одной мифологии над другой. Ацтеки — «простодушные дикари», как охарактеризовал их Прескотт, — служили

богам, которых следовало умиротворять, чтобы наступило завтра и солнце не перестало светить. Испанскому богу тоже нужны были жертвы — новообращенные по всему свету — и благочестивое поведение как входной билет в вечную жизнь. Это были абсолютно разные устремления, которые шокировали представителей иной культуры. Интересно отметить, что ацтеки, между прочим, умерщвлявшие жертв, вырезая сердце из груди, были потрясены испанским обычаем сжигать еретиков. Жестокость, судя по всему, — качество, не осознаваемое его обладателем.

Моя книга имела успех и попала в список бестселлеров. Журналисты брали у меня интервью. Известный ученый обрушился на меня с критикой, что стало наилучшей рекламой. Спустя два года мне позвонил кинопродюсер. Я выслушала его почти с тем же недоверием, с каким некогда впервые прочитала о Кортесе. Положив трубку, я не смогла удержаться от смеха.

— Не нравятся мне эти перья, — говорит Клаудия. — Некоторые похожи на страусовые. В Центральной Америке не водятся страусы.

— Займитесь перьями, — бросает продюсер помощнице. — Ну а в целом, что скажете? Грандиозно, правда?

— В целом это… производит впечатление.

Что было действительно так. В испанской долине сошлись противоборствующие армии Монтесумы и Кортеса. На заднем плане видны горы и крыши маленькой деревушки, которая конечно же останется за кадром, как и телеграфные столбы вдоль дороги, припаркованные автомобили и три огромных фургона обслуживания. На переднем плане блистают панцири солдат Кортеса, бренчит упряжь, стучат копыта. Рядом ацтекские полчища — с пышным плюмажем на макушке, стеганых туниках, мокасинах с золотой бахромой и мантиях, украшенных «сомнительными» перьями. По правде говоря, границы полчищ в кадр тоже не попадают: сорок тысяч ацтекских воинов, о которых говорят историки, представлены здесь сотней человек массовки. Во время одного из бесконечных перерывов в съемке они сидят кружком, курят и попивают кока-колу. Монтесуму гримируют в персональном фургончике. Клаудия ужинала с ним вчера в ресторане в Толедо; он актер из Венесуэлы, человек невероятной сексуальности и невообразимой глупости. Во время ужина, тщетно пытаясь установить с ним какой бы то ни было интеллектуальный контакт, она пришла к выводу, что к нему следует отно-

ситься не как к человеку, а как к прекрасному животному, наделенному средними способностями к речи и пониманию.

Клаудия будет значиться в титрах этого фильма как «советник по истории». Она долго и мучительно (никак не меньше десяти минут) размышляла, соглашаться ли ей на эту роль. В конце концов алчность и любопытство взяли верх. Она не могла отказаться от привлекательно кругленькой суммы, которую кинокомпания предложила в обмен на ее уважаемое имя (и ее советы, к которым почти не прислушивались). А кроме того, это мог быть любопытный опыт — по крайней мере, что-то новенькое. Клаудия в свои сорок шесть еще более неугомонна, чем в юности.

Режиссер рявкает на массовку в мегафон. Сигареты потушены, перья оправлены. Кортес и Монтесума выходят из своих фургончиков.

— Битву будут переснимать, — говорит продюсер. — В прошлый раз вышла накладка с лошадьми.

— Полагаю, вы знаете, что в действительности они никогда не сходились стенка на стенку? — спрашивает Клаудия.

Продюсер искоса смотрит на нее:

— Ну, пусть будет маленькая натяжка. А потом,

вы же сами прочитали мне длинную лекцию о том, что существуют противоречивые свидетельства. Вот и спишем на противоречия. Красивый вид, не правда ли?

В поросшую травой и кустарником долину, превращенную в поле битвы, верхом на коне выезжает Кортес — тучный человек с мгновенно узнаваемым лицом. Немедленно вспоминаются кадры, где он то глядит вдаль из-под капюшона, согнувшись над штурвалом, то прячется в окружении факельщиков, в фетровой шляпе и плаще, то стреляет с городских укреплений. Символ века, абсолютный ноль, известный всем и никому. Клаудия с ним только что познакомилась; когда он протянул руку, у нее возникло удивительное чувство, будто рука эта сделана из картона, и она испытала легкое замешательство, ощутив живую плоть.

Армии маневрируют, заходят с флангов, сталкиваются. Шум крики, толчея. Видно, как Кортес грузно валится на землю и снова поднимается. Монтесума спасается бегством. Грузовики с камерами кружат по периметру поля, операторы неистовствуют. Волосы Клаудии треплет ветер, в глаза бьет солнце. Она наблюдает за происходящим с интересом и недоверием. Дело не в

сомнительных перьях, в ненатуральной опрятности сражающихся или звуке мегафона и стрекоте раскаленных механизмов — дело в чем-то совсем другом. Она не может поверить, что участвует в этом дорогостоящем фарсе. К любопытству подмешивается легкая тошнота. Она думает о настоящих испанцах и ацтеках, грязных и оборванных, которые послужили материалом для фильма и поводом набить карманы, в том числе ее собственный.

Много лет спустя за завтраком в Мейденхеде Джаспер бросил в меня этот камень, желая отразить мои обвинения в том, что он «шельмует историю». Я защищалась, говоря, что была всего лишь зрителем. Но в действительности он был прав. Touche, Джаспер.

Моя книга о Мексике была здравым, хотя и противоречивым, повествованием. Это был последовательный рассказ. В моей истории мира захват Тескоко[110] выглядит по-другому.

Или не выглядит — скорее слышится по-другому: испанские диалекты, которые мы утратили, перекликаются с языками индейцев, о которых мы не имеем ни малейшего понятия, смешива-

[110] Примечания: 110

Бессточное озеро в Мексике, на котором в 1325 году был основан Теночтитлан.

ются со звуками латинской мессы и навсегда позабытых ритуалов в честь отвратительных богов, жаждущих человеческой крови, день за днем, день за днем. Да, вот как это должно быть. Картину пусть каждый достроит сам, а звук — звук менее навязчив. Мои читатели должны слышать, они должны стать слушателями. Пусть они услышат тяжелую поступь Кортеса, продвигающегося вглубь страны, дождь, ветер, брань и склоки, пусть они услышат ужасное шипение Попокатепетля[111] — в его дымящееся жерло спустились испанцы, у которых так некстати кончилась сера для пороха. Пусть они услышат звуки бойни в Чолуле,[112] где испанцы, разъярившись, вырезали три тысячи индейцев, а может, шесть тысяч, а может, еще больше тут тоже существуют «противоречивые свидетельства», — но *звуки* будут отличаться очень *мало*. Пусть они услышат сады Иштапалапана[113] — пение птиц в вольерах, щебетание колибри и жужжание

[111] Примечания: 111
Действующий вулкан в Мексике.

[112] Примечания: 112
Важный религиозный центр, богатый город, разграбленный испанцами.

[113] Примечания: 113
Город, которым управлял брат Монтесумы.

пчел, вьющихся над дивно пахнущим кустарником и лианами, оплетающими шпалеры и шорох метлы, подметающей дорожки. Пусть они услышат как Монтесума приветствует Кортеса и как Кортес приносит ему уверения в дружбе и почтении. Пусть они услышат звон золота и серебра — ожерелий, браслетов и других украшений даров, переданных ацтеками испанцам, и их заинтересованные замечания по поводу мастерства, веса и возможной стоимости этих изделий. Пусть они услышат скрип пера по пергаменту: Кортес пишет донесение императору в Мадрид. Возможно, они услышат даже бормотание Карла V,[114] вопрошающего, стал ли он уже хозяином всего Нового Света или только его части, что его бы не устроило. И наконец, пусть они услышат общий предсмертный вопль человечества — испанцев и индейцев, мужчин, женщин и детей, умирающих потому только, что они имели несчастье оказаться на переломе истории.

И что? — спросите вы. Вам-то что до этого, Клаудия? Ну написали вы книгу, еще одну книгу в придачу к миллиону уже написанных. Каким об-

[114] Примечания: 114

Карл V Габсбург (1500–1558), король Германий, император Священной Римской империи, король Испании, крупнейший политический деятель Европы I половины XVI века.

разом эти события вдруг, нарушив хронологию, оказались частью вашей скучной семидесятишестилетней биографии?

Я отвечу: они раздвигают границы моего существования, раскрывают темницу моего личного опыта и становятся его частью.

Запах кожи. Дорогой запах обивки салона авто, где за рулем шофер, а на заднем сиденье мы с Кортесом. С тучным Кортесом. Теперь без брони, одетый так, как обычно одевается очень богатый актер середины двадцатого века вне съемочной площадки, но от этого не менее тучный. Джеймсу Сакстону за пятьдесят, но выглядит он на десять лет моложе, а когда оператор — мастер своего дела, то и на все пятнадцать. Его нельзя назвать жирным, он просто лоснится, как это бывает с мужчинами, которые ухаживают за кожей чуть больше, чем нужно. Его рубашка, брюки, синий пиджак искусного покроя, что делает тело на вид более изящным, чем на самом деле. Он очень заботится о своем внешнем облике. Его лицо и без грима выглядит довольно странно, словно кто-то прошелся-таки по нему карандашом и пуховкой: легкий загар кажется ненатуральным, ресницы и брови слишком акцентированы. Он говорит густым звучным басом услышав его, люди замол-

кают, словно бы он сказал нечто значительное. В действительности же, как определила Клаудия, он крайне заурядный человек. Он редко произносит что-либо заслуживающее внимания, один лишь голос его завораживает. Он и сейчас говорит что-то о пейзаже за окном.

— Обожаю горы.

— А… — отзывается Клаудия. Что еще тут можно сказать?

— Хорошо, что не стали снимать в Мексике. Там такой отвратительный климат. Хотя побережье сносное. Я как-то отдыхал в Акапулько. Чудесные пляжи.

Клаудия раздумывает, не сказать ли ей еще раз «А…». Шофер петляет, вписывая автомобиль в крутые повороты дороги. Она спрашивает Джеймса Сакстона, видел ли он когда-нибудь ацтекские пирамиды и крепости.

Джеймс Сакстон качает головой. Он не знает точно. Сомневается. Но может, и видел. Он ведь везде бывал.

Трудно было бы не заметить пирамиды, думает Клаудия. Ну да ладно. Она продолжает разговор об архитектуре доколумбовой эпохи. Ее собеседник невыносимо скучает, но ведь, если забыть о студиях Голливуда, Пайнвуда и Чинечитты, он

остается английским джентльменом, он знает, как вести себя с леди. Придав своему знаменитому лицу выражение интереса, он дает ей закончить. Затем пускается в длинный рассказ о том, как они снимали в Египте фильм про Наполеона (Клаудии понятен ход ассоциаций, хотя пирамиды и крепости в рассказе не фигурируют). Он сыграл Наполеона и Френсиса Дрейка, Марка Антония и Байрона. Все эти образы перемешались в его голове, образовав мозаику разрозненных обстоятельств, сложенных в уникальный пестрый узор. Наполеон имел роман с Жозефиной и руководил сражениями. Френсис Дрейк был не в ладах с королевой Елизаветой и говорил с девонским акцентом. Было очевидно, что о хронологии Джеймс Сакстон имеет представление самое приблизительное. Он знал, что Наполеон жил в девятнадцатом веке, но затруднился бы сказать, в конце или в начале. Даты ничего ему не говорили, он все равно не умел их соотнести. Вот человек, восхищенно думает Клаудия, не имеющий ни малейшего понятия о времени, невинный как младенец. Как это он умудрился сохранить такую незамутненность разума? Она с ловкостью (и легкостью, поскольку всего лишь побуждает его заговорить о любимейшем пред-

мете — себе самом) выведывает, что он получил домашнее образование, а вернее сказать, не получил вовсе никакого, поскольку считался слабым ребенком. Ничего удивительного, что режиссеры любят его за покладистость: избежавший развития не имеет и формы.

Он смотрит на часы: «Майк с ума сойдет! У нас ведь на вторую половину дня запланирована сцена пиршества. Прибавьте газу, Чарли». Водитель кивает, пейзаж за окном начинает двигаться быстрее. Они обедали в городе, в некотором отдалении от того места, где шли съемки, потому что Джеймсу Сакстону надоела походная кухня, а утром его присутствие не требовалось. Клаудия стала его компаньонкой потому, что с Монтесумой они так и не нашли общего языка (как и полагается истории), у исполнительницы главной роли была мигрень, прочие члены труппы с утра были заняты на репетиции. Во время обеда — обильного и продолжительного — разговор не клеился. По крайней мере, Клаудия с трудом назвала бы это разговором. Зато Сакстон чувствовал себя в своей тарелке. Он был начисто лишен любознательности. За эти три дня она ни разу не слышала, чтобы он обратился к кому-то с вопросом. Причиной было не столько самодовольство,

сколько отсутствие интереса, привычка к тому, что уже много лет люди настойчиво интересуются каждым его словом и действием.

Клаудия, судя по всему, снискала его расположение. С тех пор, как они познакомились, он был с ней любезен и обходителен. На него произвел впечатление ее статус консультанта, к ней обращались за одобрением. И она была не из тех женщин, к которым он привык. Под конец обеда в нем даже проснулось нечто вроде любопытства.

— Что побудило вас этим заняться… ну, начать писать такие книги?

— Незнание. Нескромность. Гордыня. И судьба, конечно. Во время войны я была военным корреспондентом. Там я утратила желание писать о современности.

Сакстон кивает:

— Я был на Дальнем Востоке, с Ассоциацией по зрелищным мероприятиям.[115] Не совсем на фронте, конечно, но раз или два было довольно горячо. Корабль, на котором мы плыли, неподалеку от Сингапура атаковали торпеды. Я был чертовски рад вернуться домой.

---

[115] Примечания: 115

ENSA была основана в 1939 году для развлечения солдат, сражавшихся на фронтах Второй мировой войны. В работе Ассоциации были заняты многие известные актеры того времени.

— Все же нельзя сказать, что мы с вами подвергали себя большой опасности.

Это ему не понравилось, он ответил сдержанно:

— Что ж, возможно… Во всяком случае, я всегда верил, что мы должны принимать и блага, и тяготы.

Его несравненный голос придает словам надлежащую торжественность.

— Это очень мудро, — говорит Клаудия. — Разве вы так не думаете?

— Не совсем. Думаю, это скорее вопрос темперамента, нежели веры.

— Женщины всегда менее склонны философски относиться к превратностям судьбы. Вот моя жена…

— Они скорее склонны их создавать.

— Что? — Он недоуменно смотрит на нее.

— Я имела в виду мойр, — поясняет Клаудия. — В греческой мифологии их обычно представляли женщинами. Их было три. Они пряли.

— Так вот, моя жена…

— Еще фурии. Символ неотвратимого возмездия со времен матриархата. Но также и музы. По-моему, мы забрали себе все лакомые кусочки жизни. Так что ваша жена?

— Я забыл, что хотел рассказать. Странная вы женщина, Клаудия. Ничего, что я так говорю?

— Мне уже говорили это раньше.

— Наверное, я имел в виду, что вы необычная.

— «Странная» сойдет.

В центре внимания оказалась Клаудия. Оба понимали, что это неприемлемо.

— Греция, — говорит Сакстон, — чудесная страна. Люблю там бывать. Вы слышали о Гидре?

Клаудия не знает, и он длинно рассказывает об этом скучном обломке скалы, на котором подумывает купить себе виллу. Она думает о мойрах, которые хихикают над своими прялками, или, может быть, если они следят за техническими новинками, над автоматическими ткацкими станками — но, так или иначе, хихикают, насылая войны, голод, катастрофы и миллионы случайных неинтересных встреч, вроде ее знакомства с этим знаменитым, но заурядным человеком.

Обед заканчивается, и они выходят из ресторана в жаркий душный полдень и садятся в лимузин, который отвезет их через горы в долину. Клаудия тонет в мягком сиденье рядом с Сакстоном. Она вдыхает запах кожи и его странно пахнущего лосьона, прелесть которого понятна лишь посвященным. Она говорит. Слушает.

Смотрит, как мелькает укрощенный ухоженный ландшафт за окном, между тем как шофер вписывается в повороты дороги. Сакстон смотрит на часы, просит водителя прибавить скорость, и тот прибавляет, так что шины взвизгивают на повороте, а на следующем их бросает друг на друга, и Сакстон говорит: «Ни хрена себе!», но смеется, и водитель, не сбавляя скорости, устремляется по серпантину вниз.

Сначала она не поняла, что произошло. В какой-то момент машина мягко скользнула за поворот дороги — Сакстон в это время рассказывал ей о бое быков, — и в следующее мгновение ландшафт за окном перестал быть укрощенным и бешено завертелся вокруг, мелькали вышедшие из повиновения деревья и горы, ее бросало взад и вперед, потом раздался глухой удар, и все исчезло.

Она с трудом вынырнула из глубокого гудящего небытия и вновь оказалась в свалившейся под откос машине. Шофер повис на рулевом колесе, лобовое стекло расколото, мотор работает. В голове Клаудии брезжит одна-единственная мысль: его надо выключить — какие-то смутные ассоциации про искры и бензин. Она забыла о Джеймсе Сакстоне, о том, где она и что случилось. Перегнувшись через сиденье, она нащупывает

возле руки водителя ключ зажигания. И наступает тишина. Она открывает дверцу и вылезает на обочину. Садится. Вокруг царит восхитительный покой, трещат цикады, шелестят под ветром кусты. Она ни о чем не думает, ничего не чувствует, у нее болит в боку, но это совершенно не важно. Она сидит на каменной площадке и отстраненно смотрит на низенькое растеньице с крошечными цветками, подобными драгоценным камням. Она смотрит в небо: прямо у нее над головой парит в небесной синеве птица. Она разглядывает ее роскошные крылья, а потом небо вдруг становится серым, очертания птицы расплываются, и перед тем, как потерять сознание, Клаудия видит, как птица опускается в долину.

Водитель погиб. Джеймс Сакстон проломил голову, сломал ключицу и руку — и получил от страховой компании столько-то миллионов долларов. Я заработала сотрясение мозга и два сломанных ребра: в тот день мойры мало интересовались мной. «Ивнинг Стандард» вынес на передовицы заголовок: «ДЖЕЙМС САКСТОН РАЗБИЛСЯ В ОДНОЙ МАШИНЕ С ЖЕНЩИНОЙ». Джаспер, с которым я тогда еще время от времени жила, наговорил по телефону много разного, отнюдь не только слова участия. Я неделю про-

лежала в мадридской больнице; на пятый день в палату вошел Гордон, и я расплакалась.

— Если бы я знал, что мое появление произведет такой эффект, я бы не приходил. — Он достает носовой платок и осторожно вытирает ей слезы. — Ну-ка высморкайся…

— Ох, отстань. — Клаудия отталкивает его руку, отворачивается к ночному столику и тихонько подвывает: — Боже мой…

— Тогда не раскисай. Нечего ныть. Ты не так уж плохо выглядишь.

— Как ты здесь оказался? Ты же в Австралии.

— Сильвия доложила. Я изменил планы. Господи, Клаудия, хватит уже реветь. Я не видел тебя в слезах с тех пор, как тебе было лет шесть. Да что с тобой такое?

— Это называется отсроченный шок. Он наступает, когда люди понимают, что живы, хотя могли умереть. Очень рациональная реакция, если подумать.

— Не говори таким загробным голосом.

Гордон сидит у ее постели. Внезапно он берет ее за руку, держит ее, смотрит на Клаудию. Она чувствует тепло его рук, видит его глаза, видит то, что в них, и, не выдержав, отводит взгляд. Он не прикасался к ней многие годы, разве только

случайно. Они не целовались при встречах.

Он встает и подходит к окну:

— Вид не особенно выдающийся. Но вряд ли он успеет тебе надоесть.

Клаудия смотрит на него. Он самый непостижимый мужчина на свете, думает она, самый родной и самый непостижимый.

На лбу синяк, лицо не накрашено. Она сидит в кровати, похожая не на бесстрашную, воинственную, неутомимую Клаудию, а на ее бледный призрак. А когда начинает плакать, он чувствует, что прежняя близость никуда не делась, она здесь, спустя годы, такая же, как в то время, когда были только они вдвоем, прежде чем они обратили внимание на весь остальной мир. Он смотрит на нее так, как смотрел тогда, и она отвечает на его взгляд. Оба не желают возвращения в то время, но молча празднуют то, что никогда не может быть утрачено. Потом он встает. Подходит к окну и смотрит на бульвар и верхушки олеандров, толпу людей, лезущих в ярко-желтый автобус, на щиты с рекламой сигар и стирального порошка. Он думает, что из всех людей Клаудия для него одновременно самая близкая и самая далекая женщина и что он желал бы, чтобы было иначе.

14

Мое тело хранит память о некоторых событиях. Аутопсия показала бы, что я родила ребенка, ломала несколько ребер, лишилась аппендикса. Другие недуги не оставили следа; корь, свинка, малярия, нагноения и инфекции, простуды, расстройства пищеварения. В детстве и юности я много лет носила на колене отметину — лоскуток сморщенной розовой кожицы, память о падении с уступа в Лайм-Реджис, когда меня толкнул Гордон (хотя может, и правда, что не толкал). Сейчас я уже не нахожу эту отметину — тело тоже умеет забывать. Патологоанатом, конечно, может выяснить больше, чем археолог, которому достается лишь скелет. Мне довелось читать отчет о раскопках, где педантично и отстраненно, как всегда в таких документах, описывался скелет англосаксонской женщины, найденной в неглубокой могиле лежащей лицом вниз. Сверху она была придавлена тяжелым камнем. Положение камня и судорожно скрючившийся скелет позволяли сделать вывод, что женщина была похоронена заживо. Эти скупые слова, молчание

камня и костей донесли из глубины веков вопль боли и ужас. Мой патологоанатом мог бы, самое большее, мельком подумать о стонах, сопровождавших роды, или поразмыслить о сломанных ребрах.

Но мое тело хранит и память об антропогенезе, оно помнит питекантропов и австралопитеков, первых млекопитающих и тех странных созданий, что махали крыльями, ползали на животе, плавали в Мировом океане. Может, эта память говорила во мне, когда в детстве я обожала лазать по деревьям, и стала причиной моей любви к теплым морям. Сама того не сознавая, я делю эти воспоминания со всем миром — с лангустами и собаками, с лошадьми, лемурами, гиббонами и шимпанзе. И лишь милостью Божьей я есть я. Впрочем, будучи воинствующим агностиком, я не думаю, что Бог имеет к этому какое-то отношение.

В какой-то мере мое тело определило мою судьбу. Жизнь привлекательной женщины не такова, как жизнь дурнушки. Моим волосам, глазам, форме рта, очертаниям груди и бедер — всему было воздано должное. Человеческий разум может восприниматься отдельно от внешности, но индивидуальность в целом никогда; в восемь

лет я осознала, что окружающие считают меня хорошенькой, вектор был задан. Ум делал меня одним человеком; ум вкупе с привлекательной внешностью — другим. Это вопрос самооценки, а не самодовольства.

Я вернулась из Мадрида с синяками и необычайно внушительным банковским счетом, разрываясь от интереса ко всему. Мир изумлял меня. Зеленая вода Ла-Манша, чайки, висевшие в небе над паромом, проржавевшие поручни, изгиб сиденья казались мне исполненными глубокого значения, словно произведения искусства. В 1942-м, в Каире, я восстала против бесконечности мироздания; в тот черный день я шла вдоль берега Нила, и все красоты мира были мне ненавистны — жизнь, краски, звуки, запахи, пальмы, фелуки, змеи, которые без устали кружили в невыносимо синем небе. Сейчас же вся разница была в том, что я осталась жива. Я простила мирозданию эту разницу. Как великодушно с моей стороны. И как ловко.

Приехав в Лондон, я послала за Лайзой, которая жила в Сотлее с бабушкой. Мне хотелось возместить упущенное, то, что я была такой матерью, какой была. И еще: мне хотелось ее видеть.

Клаудия, Джаспер и Лайза идут по одной из про-

сторных аллей Лондонского зоопарка. Сегодня Лайзе исполняется восемь лет. Она сама выбрала зоопарк из всех предложенных развлечений — Тауэра, Музея мадам Тюссо, парка аттракционов в Баттерси, поездке на лодке в Гринвич — отчасти из-за того, что заметила, что Джаспер колебался, предлагая зоопарк Лайзе, не так часто удавалось настоять на своем. И вот они здесь, обычная семья среди прочих. Как узнать? — думает Клаудия. Она приглядывается к другим группкам мнимого единства мужчины, женщины и детей; как узнать, какие истории скрыты за этой ширмой?

Лайза хочет посмотреть на львов, медведей и обезьян. Они долго пробыли в львятнике, полном визжащих детей; все они, замечает Клаудия, наслаждаются атавистическим страхом. Большие кошки ходят из конца в конец по вольеру совершенно безучастно. Запах стоит отвратительный. «Сейчас мне ясно, как пахло в подвалах Колизея, — говорит Клаудия. — Пожалуйста, милая, хватит уже львов». Лайза позволяет увести себя к вольерам с медведями, и там Клаудия замолкает.

— Тебе разве не нравятся полярные медведи?

— Не особенно.

— А мне нравятся.

Лайза висит на поручнях, наблюдая, как

медведь нервически качает головой и ходит взад-вперед по бетонному уступу словно старик в фетровых шлепанцах.

Джаспер зевает:

— Как насчет обеда, золотко?

— Я пока не хочу обедать. Я хочу посмотреть обезьян.

И они идут к обезьянам, к целому клану бурых обезьян, которые на открытом пространстве беззаботно устраивают свою личную жизнь.

— Что делает во-он та обезьяна? — Лайза смотрит на Джаспера.

— М-м… я точно не знаю.

— Вот как? — окинув его презрительным взглядом, говорит Клаудия. — Это обезьяна-самец, она делает так, чтобы у обезьяны-самки появился детеныш.

— Как? — требовательно спрашивает Лайза.

— Да, как? — с неменьшим интересом спрашивает Джаспер.

Клаудия отвечает, глядя на него:

— Самец вставляет торчащую часть тела, которую ты видишь, в низ живота самки и пускает в нее семя. Из семени вырастет маленькая обезьянка.

Джаспер отворачивается — его душит смех.

Лайза снова смотрит на обезьян:

— А маме-обезьяне плохо, когда он вот так делает?

— Вряд ли. — Клаудия гневно толкает в бок Джаспера, который пытается успокоиться.

— Я однажды видела, как Рекс делал такое с другой собакой на ферме. Бабуля Бранском сильно на него сердилась.

— Бедняга Рекс, — говорит Джаспер.

Клаудия набирает в легкие воздуха:

— Точно так же появляются дети у людей. Таким же способом.

Лайза поворачивается и смотрит на нее:

— Правда?

— Да, — решительно подтверждает Клаудия, — в точности так же.

Лайза смотрит на нее, потом на Джаспера.

— Какая мерзкая гадость, — говорит она.

— Заткнись, — говорит Клаудия, — она же увидит. И вообще, это не смешно.

Джаспер вытирает глаза. Лайза в нескольких ярдах от них наблюдает за перепалкой обезьяньих детенышей.

— Она становится очень забавной. Я должен чаще ее видеть.

— Потому что она забавная?

Клаудия сегодня очень красива. На лбу еще остается слабый синяк, но лицо разрумянилось, волосы горят огнем, она стройна и элегантна, по-прежнему притягивает взгляды; сегодня, как и всегда, она — женщина, быть рядом с которой лестно. Жаль, приходит Джасперу в голову, что девочка получилась не в нее. И не в него, если уж на то пошло.

Он берет Клаудию за руку:

— Как бы то ни было, я очень рад, что ты цела и невредима.

— Джаспер, мне нужно кое-что тебе сказать.

— Неужели ты снова беременна?

— Не валяй дурака. После того как Лайза уедет в Сотлей, я хочу, чтобы мы разошлись.

Он вздыхает. Пусть она увидит его загадочную русскую душу, если таковая у него имеется.

— Милая… ты сердишься на меня за что-то. Если это из-за той итальянки, то уверяю тебя, все в прошлом. Она для меня никогда ничего не значила.

— Мне нет дела до итальянки. Я просто хочу быть сама по себе.

— Сама по себе — с кем? — Он выпускает ее руку.

— Сама по себе — ни с кем.

Джаспер чувствует, как в нем вспыхивает раздражение. Он смотрит на нее: из красивой и забавной Клаудии она превратилась в Клаудию несговорчивую, приводящую в бешенство. Ему *вовсе* не улыбается расставаться с ней сейчас; позже — может быть, но он предпочел бы сам «составлять расписание».

— Дорогая, — говорит он, — для блага ребенка, думаю, будет лучше, если мы поговорим об этом позже, в спокойной обстановке.

Они смотрят на Лайзу, которая, по-видимому, всецело поглощена обезьянами.

Обезьянки-детки — крошечные детки-обезьянки — с личиками, как маргаритки, с блестящими черными глазками. Она так хочет одну обезьянку, так хочет, что ей даже больно от этого. Это была бы только ее обезьянка, она бы ее всюду водила с собой, та бы все время обнимала ее за шею, как сейчас обнимает маму-обезьяну. Детки-обезьянки лучше всего на свете, лучше котят, лучше щеночков, лучше цыпляток — лучше всего-всего. Но они все равно никогда не разрешат ей обезьянку. Клаудия скажет: «Не говори глупостей», бабуля Бранском скажет «нет», Хельга скажет «нет».

Одна из взрослых обезьян ест орех. Она грызет

его зубами, а скорлупу убирает, прямо как человек. Орех падает, одна подросшая обезьянка хочет его схватить, но взрослая кричит и прогоняет ее. Потом обезьянки-подростки затевают игру в догонялки, бегают друг за дружкой по кругу. Папа-обезьяна перестал делать то дело с обезьяной-мамой и ищет блох прямо как Рекс, только пальцами, а не зубами. Лайза смотрит на маму-обезьяну, не собирается ли она уже родить другую маленькую обезьянку, но обезьяна просто сидит на корточках и ничего не делает.

Лайза помнит, что Клаудия только что сказала о людях. Она поворачивается и смотрит на них, на Клаудию и Джаспера. Вот они стоят, Клаудия и Джаспер, которые были всегда, которых она не называет мамой и папой, потому что Клаудия считает, что это глупо. Когда-то она появилась на свет из живота Клаудии, она знает это, потому что бабуля Бранском рассказала ей однажды в саду, когда срезала розы, и добавила, что об этом не говорят. Если бы бабуля Бранском слышала, что сейчас сказала Клаудия, она была бы очень, очень расстроена.

Лайза смотрит на Клаудию и Джаспера и снова думает о словах Клаудии; она смотрит на них так, как смотрела на обезьян, но с куда меньшей

симпатией.

Когда Лайза навещает меня, она говорит только о рутинных вещах, осторожно и бесстрастно. О погоде, о школьных оценках сыновей, о спектакле, На котором была. Она намеренно ведет себя так, будто со мной ничего особенного не происходит, лишь избегает несогласия: вы же не станете спорить с тем, кто находится при смерти. Меня такое поведение слегка раздражает, но я понимаю, что альтернативы нет. Непосредственность для Лайзы под запретом, и у нее есть полное право на такой выбор.

Я люблю Лайзу. Всегда любила — как умела; беда в том, что она этого никогда не могла понять. Я не виню ее: ей нужна была другая мать. Самое малое, что я еще могу сделать сейчас, — это вести себя, по ее понятиям, прилично. А приличия состоят в том, чтобы сдерживаться, игнорировать неизбежное, занимать свое время несущественными вещами. Смысл в этом, конечно, есть. И все же: откуда у нее эта осмотрительность? Очевидно, что не от меня. И не от Джаспера. Наследственность и окружение… Для Лайзы определяющим стало второе. Моя мать и леди Бранском сделали из нее то, что хотели. И это тоже моя вина.

Вчера она читала *мне* газету, изо всех сил

стараясь выбрать то, что могло меня развлечь или заинтересовать. И все же пропустила самое увлекательное. Я заметила это уже потом, когда «Обсервер» лежал на ночном столике. Слова приписывались Мисс Мира-1985: «Я думаю, судьба — это то, как вы ее понимаете».

Интересное мнение, вот бы знать, насколько искреннее. Давайте обсудим это на примере а) Эрнандо Кортеса, б) Жанны д'Арк, в) жителя Будапешта 1956 года. Объем трактата не ограничен.

1956-й. Лайзе исполнилось восемь лет. В тот же год произошли и другие, более громкие события. Конфликт из-за Суэцкого канала. Венгерское восстание. Мы с Джаспером расстались — не в первый раз и не в последний. Лайза вернулась в Сотлей. Я старалась видеться с ней как можно чаще. Я писала колонку для газеты Гамильтона, наша договоренность гнала меня в самые разные места — как раз то, что мне было нужно, когда на середине жизненного пути у меня вдруг открылось второе дыхание. Я писала обо всем, о чем хотела, обо всем, что будило во мне живой интерес. В тот год я и те, кто думал, как я, слушали выступления Идена[116] — сначала с недоверием,

[116] Примечания: 116

Энтони Иден (1897–1977), в 1955–1957 годах премьер-министр Великобритании.

потом с гневом. Впервые, когда за эти несколько недель резонерство правительства сменилось очевидной невменяемостью, мы почувствовали, каково это — жить в политизированном обществе. Люди кричали друг на друга, друзья переставали общаться, распадались семьи. Я имела доступ к вожделенному печатному слову, но и я, в тревоге и возмущении, шла к юнцам в коротких пальто и шарфах, по цвету которых *можно* было определить, в каком колледже они учатся. Гостиные и церкви были забиты спорщиками. А потом, в середине недели, когда события шли по нарастающей, стал очевиден жестокий цинизм происходящего: в то время как мир спорил о ценах на нефть и водных путях, в Будапешт вошли танки. *Я* разорвала уже готовый текст для завтрашнего номера и написала новый. Я уже не помню, о чем говорила в той статье, — помню лишь чувство беспомощности, словно я свидетель, безучастно наблюдающий за убийством. Чувство было такое, что Венгрия — это не другая страна, а другая эпоха, и потому недосягаема.

Но это, конечно, было не так.

— Я звоню вам, — прорезается слабый голос сквозь толщу атмосферных помех.

— Я знаю, что вы мне звоните, — отвечает

Клаудия.

— В газете мне дают ваш телефон.

Клаудия вздыхает. В газете не имеют права так делать. Они это знают. Какая-нибудь глупая стажерка. Какой-нибудь докучливый зануда.

— Послушайте… — начинает она.

— Из Будапешта я звоню вам.

Клаудия переводит дух. Ох… Вот это да. В трубке пощелкивает, потрескивает, словно где-то на линии горит костер.

— Алло? Алло? Вы можете говорить громче?

— Я звоню вам ради моего сына, он в Уимблдоне. Моего сына Лазло.

— Уимблдон? — переспрашивает Клаудия. — Вы имеете в виду лондонский Уимблдон?

— Мой сын в Уимблдоне, в Лондоне, он учится.

— Кто вы? Пожалуйста, назовите свое имя. Говорите медленно и как можно громче.

И сквозь потрескивание, щелчки и океанские ветры долетел его голос — из другого места, но нет, конечно, не из другого времени.

— Я профессор университета… Моему сыну Лазло восемнадцать… Он изучает живопись… Приехал в вашу страну до того, как начались эти события, о которых вы пишете в газете, вы понимаете, о чем я говорю? («Да, да! — кричит

Клаудия. — Но как вы… Не важно, продолжайте, продолжайте, пожалуйста, я вас хорошо слышу».) Я говорю, мой сын… ему нельзя возвращаться… Я говорю, пускай он останется у вас в стране… Понимаете, я, наверное, не смогу с вами долго разговаривать… Мне неловко вас просить, но у меня нет друзей в вашей стране, а вы, наверное, понимаете, что здесь происходит… Нет денег… восемнадцать лет… ему нельзя возвращаться… Кто-то может помочь моему сыну?

— Да, — говорит Клаудия. — Здесь есть люди, которые помогут вашему сыну.

Треск превращается в гул, ветры неистовствуют.

— Я вас очень плохо слышу. Пожалуйста, назовите адрес. Адрес в Уимблдоне. Пожалуйста, скажите… Назовите свой адрес! Нет-нет, не стоит. Вы позвоните мне еще раз?

— Боюсь, я не смогу. Я думаю, скоро у меня, возможно, не будет адреса. Вы понимаете?

— Да, — отвечает Клаудия. — Боюсь, что да.

И вот он, Лазло, дитя своего времени, сидит в квартире Клаудии в Фулхэме. За окном октябрь, непримечательные звуки Лондона шаги по мостовой, гудок такси, пролетающий самолет. Лазло сидит на краешке дивана, с маленьким вещевым

мешком у ног. У него прямые черные волосы, прыщавое лицо.

Он простужен. У него нет ничего, кроме той одежды, что на нем, сменной рубашки, пары носков, карты Лондона, оксфордского словаря и набора открыток из галереи Тейт.[117] Еще у него, конечно, есть паспорт, напоминающий, кто он такой и откуда.

— Ужасное решание, — говорит он.

— Решение, а не решание, — поправляет Клаудия, — хотя какая разница. Глупые слова.

— Слова не глупые, — говорит Лазло. — По-английски я должен говорить. Хорошо должен говорить.

Вот он сидит, мешковатые брюки пузырятся на коленях, куцый свитер. И в груди Клаудии поднимается самое пронзительное из всех чувств — жалость. Ах ты бедолага, думает она. Несчастненький, жалкий мальчик. Ты из тех, кому история не дает ни единого шанса. Ты, уж точно, не можешь считать себя хозяином своей судьбы. Свобода воли по нынешним временам — пустой звук.

— Если ты решишь остаться, я сделаю для тебя

---

[117] Примечания: 117

В лондонской Галерее Тейт представлена коллекция мировой живописи XX века.

все, что смогу. Для начала ты можешь пожить у меня. Я разузнаю, в каких художественных колледжах есть места.

Молчание.

— Я больше никогда не увижу отца, — говорит Лазло. Мать его, как выяснилось, умерла, когда он был ребенком.

— Никогда — слишком сильное слово, — тихо отвечает Клаудия.

— «Никогда». Еще у меня есть тетя, бабушка и двоюродные братья.

Клаудия кивает. А что ты еще можешь предложить? — думает она. Это неопределенное понятие — свобода — сейчас кажется совсем призрачным. Все восемнадцатилетние, кого я знаю, озабочены сексом и экзаменами — это и есть их свобода.

— Я хочу вернуться в Будапешт. — Он смотрит на нее виноватыми щенячьими глазами, умоляя, чтобы она приняла решение за него.

Клаудия встает:

— Я пойду приготовлю ужин. А ты пока прими горячую ванну. Полежи в ней и постарайся ни о чем не думать. До утра все равно не стоит ничего решать. Или до завтра. Или до послезавтра.

Несколько дней Лазло промучился. Он слонялся по квартире, окутанный туманом отчаяния

и потом выходил на улицу. Его простуда торжествовала победу. Когда у меня потекло из носа, я поняла, что наши отношения будут непростыми. Он был хорошо воспитан: и в пучине горя не забывал говорить «спасибо» и «пожалуйста», все время порывался помыть посуду. А потом пришло письмо его отца — шесть плотно исписанных листов бумаги, — написанное еще до телефонного звонка. И он сдался. Он провел три часа в моей спальне, наедине с этим письмом, и, выйдя оттуда, сказал: «Я останусь здесь».

«Хорошо, — суховато говорит Клаудия. — Тогда нам есть над чем подумать. Ты хочешь ходить в художественный колледж в Лондоне или где-то еще? Я отвезу тебя, посмотришь разные университеты. Есть попечительские комиссии, которые регистрируют таких, как ты. С ними надо связаться. Таких, как ты, наверное, немало. И надо купить тебе пальто и свитер потолще, пока не стало еще холоднее. Здесь нельзя одеваться так, как летом в Центральной Европе».

Ну и ну, думает она, кто это говорит?

Так, по мановению Кремля, в мою жизнь вошел Лазло. Я помню забавное удовлетворение, словно бы одну из мойр оставили с носом. Гордыня, гордыня… Я сама была в узоре, который они соткали

для Лазло. И что должна была делать я — сорокашестилетняя занятая женщина — для горюющего юнца с художественными наклонностями и не слишком хорошим английским?

— Надо было, чтобы я умер, — говорит Лазло, — надо было, чтобы я умер, как люди в Венгрии.

Он стоит, одетый в пальто, купленное на деньги, которые она заставила его взять (взаймы, как он тут же сурово пометил в записной книжечке). Пальто ему велико, почти до земли прикрывает его худые ноги. Прыщи стали еще заметнее. Он топчется в прихожей и угрюмо смотрит на нее:

— Вы ко мне очень добры. Всегда очень добры ко мне. Я очень благодарный.

— Ну что ж, — говорит Клаудия, — можешь меня ненавидеть, если хочешь. У тебя есть полное право кого-нибудь ненавидеть, а я прямо под рукой.

— Что значит «под рукой»? — брюзгливо переспрашивает Лазло.

Лазло напился. Он уже знает, что такое пабы, и однажды вечером пошел на Кингз-роуд, где затесался в веселую компанию молодых шалопаев. Вернулся он за полночь, и его буквально вывернуло на пол в туалете. На следующее утро он пришел со своим мешочком к Клаудии и ска-

зал, что уходит. Клаудия ответила, что в этом нет необходимости.

Лазло рисует. Он рисует углем на грубой зернистой бумаге из бакалеи за углом, покрывая лист за листом размашистыми изображениями автоматов, танков, падающих людей. Некоторые рисунки Клаудия вешает на стены. «Вот эти — хороши», — говорит она.

«Нет, они нехорошие, — возражает Лазло, — они ужасные, плохие». Когда ее нет дома, он снимает рисунки со стен и сжигает их в мусорном баке. Квартира пропахла гарью. Клаудия говорит: «Делай, что хочешь, со своими рисунками, но поджигать мой дом ты не имеешь права».

Лайза, когда она приходит к ней, с Лазло держится отчужденно. Он предложил сводить ее в парк аттракционов, но она отказалась. «Почему? — спрашивает Клаудия. — Ты ведь хотела покататься на колесе обозрения». «У него лицо в пятнышках, мне не нравится», — шепчет Лайза. В таком случае, говорит Клаудия сквозь стиснутые зубы, ты можешь забыть про колесо обозрения раз и навсегда.

Лазло получил письмо, посланное из Австрии. Это от его тети. Его отец в тюрьме. У него больше нет адреса. Лазло сказал это Клаудии и хотел

показать письмо, забыв, что она не знает венгерского. Заметно было, что он плакал. Клаудия попросила его перевести письмо, чтобы ему было чем себя занять. Пока он читает, она думает о том, что для Лазло с этой женщиной связана вся его жизнь, а для нее она — лишь голос. Думает об этом мужчине, которого никогда не видела, обо всей чужой и непредставимой жизни.

Лазло снова напился. На этот раз дома, один. Найдя в его комнате пустую бутылку, Клаудия со стуком водрузила ее на стол в гостиной. «Когда в следующий раз захочешь выпить, — говорит она, — дай знать, я составлю тебе компанию. Я большая любительница виски, но в нашей стране не принято надираться в одиночку. Ты меня понял?»

Клаудия дает Лазло задание: изучать Лондон. Она заставляет его каждый день садиться в автобус и проезжать из конца в конец весь маршрут. Лазло жалуется. «Делай, что я говорю. Только так ты сможешь нарастить новую кожу».

В день рождения Клаудии Лазло подарил ей огромный букет нарциссов. Выяснилось, что он нарвал их в Кенсингтонском саду. Как ни удивительно, никто этого не заметил.

Под моим руководством Лазло изучил худо-

жественные колледжи Лондона и остановился на Кембервилле. Он мог выбрать любой, какой пожелает: весь западный мир хотел компенсировать ему русские танки. Лазло переполошил как преподавателей, так и однокурсников. Не прошло и нескольких недель, как он начал носить берет и узорчатый шелковый шарф, который заправлял под ворот рубашки. Он начал курить сигареты «Голуаз» и ходить в кинотеатр «Керзон».[118] У него была стипендия и деньги от какого-то комитета, опекавшего венгерских студентов. Иногда по весне он съезжал и жил у друзей на южном берегу Темзы. Потом он ссорился с приятелями, или их сгоняли с квартиры за неуплату, и он возвращался ко мне, пока не находил нового пристанища. Я привыкла к поздним звонкам из уличных телефонных будок и к долговязой фигуре Лазло, возникавшей на моем пороге. Маленькая свободная комнатка, по аналогии с той, которую обычно занимала Лайза, стала называться его комнатой. Он пропадал неделями, не звонил и не писал, а потом внезапно возвращался.

Так прошло примерно десять лет.

---

[118] Примечания: 118

Кинотеатр в фешенебельном районе, где демонстрируются артхаусные кинофильмы.

Я наблюдала, как Лазло меняется. Из растерянного мальчика он превращался в непостоянного мужчину. Честно говоря я никогда не знала наверняка, были причиной его неуравновешенности обстоятельства или темперамент. Возможно, он в любом случае вырос бы таким. И надо отдать ему должное: он никогда и ни в чем не винил обстоятельства. Что он сделал — так это присягнул на верность усыновившей его стране. Через два года он говорил по-английски более бегло, чем его сверстники; он стал разборчив, у него появились предубеждения. Он завел столько друзей-англичан, сколько было физически возможно. Это была странная сборная солянка из рабочих парнишек с режущим ухо лондонским выговором и немногословных отпрысков аристократических семейств с бисексуальными именами. Он редко заговаривал о Венгрии и раздражался, когда о ней заходила речь; чтобы он ни чувствовал на самом деле, это не выходило наружу. Он избегал заводить дружбу с такими же, как он, экспатриантами — в то время в Саут-Кен и Эрлс-Корт пустила ростки загадочная и слегка порочная восточноевропейская субкультура. Одно время он заигрывал с англокатолицизмом. Потом оставил это дело и вступил в лейбористскую партию. Он

перепробовал, последовательно, вуайеризм, вегетарианство, дзюдо, планеризм и все входившие в моду художественные течения. Его отношение ко мне колебалось от покровительственного дружелюбия до восторженной влюбленности.

Лазло, немного навеселе, лежит на диване, закинув ноги на подлокотник.

— Может быть, не стоит класть на диван ноги в ботинках? — говорит Клаудия.

— Ты говоришь как буржуа. — Лазло убирает ноги. — Ты моя мама, Клаудия.

— Слава богу, нет. А тебе не стоит говорить так.

— Не стоит, — помедлив, соглашается он. — Ты права. Но я хочу кое в чем признаться. Кому еще я могу такое сказать? Видишь ли, мне нравятся мужчины. Не девушки.

— Что же из этого? — говорит Клаудия. — Если ты таков — будь таким.

Лайза так и не приняла Лазло. В детстве она смотрела на него с подозрением. Ревновала ли она? Думала ли, что я отношусь к нему как к сыну? Был ли он и в самом деле для меня сыном? Откуда мне знать наверняка — я могу только описать, что я чувствовала к Лазло. А я чувствовала жалость, ответственность и, наконец, настоящую

привязанность. Это очень немало. Но все же Лайзе не было смысла ревновать. Когда она стала постарше — в семнадцать, восемнадцать лет, — она была с ним вежлива, но держалась отчужденно. Сейчас, когда они изредка встречаются, она ведет себя так, словно он ее троюродный брат, который вот-вот скажет, что пришел просить у нее взаймы.

К тридцати годам Лазло остепенился — насколько это было для него возможно. Он стал жить с мужчиной старше себя в Кэмден-Тауне.[119] Это был престижный антиквар, из тех, у кого в магазинчике нет ничего, кроме двух-трех запредельно дорогих предметов мебели и пары китайских ваз. Я никогда не интересовалась, кто этот человек, но он заботился о Лазло, терпел перепады его настроения и давал ему какую-то работу.

Лазло нельзя назвать успешным художником. Я очень хорошо понимаю, почему люди не хотят покупать его картины: с ними слишком неудобно жить. От них тянет тревогой, они режут глаз, они негармоничные, раздражающие. Создания порожденные ночным кошмаром, бродят посреди

[119] Примечания: 119

Лондонский район альтернативной моды, затем фешенебельный жилой район.

сюрреалистического пейзажа, все распадается и расползается, люди в страхе бегут по разрушенным городам. Некоторые картины висят у меня дома — у меня не было выбора: если не я признаю их достоинства, то кто же? Как бы то ни было, я к ним привыкла.

15

— Бога ради, — говорит Клаудия, — ты ведь пришел меня развлечь, так нечего сидеть в углу и мяться.

Сегодня плохой день, говорить она может только шепотом.

— Мне ничего не сказали, — чуть не плачет Лазло. — Мы были во Франции, потом я поехал в Нью-Йорк, а когда вернулся, позвонил тебе, но никого не было, потом позвонил еще — и снова никого, и тогда уже я позвонил Лайзе. Почему они мне ничего не сказали?

— Они пытались. Лайза тебе звонила. Но ведь ты был в отъезде.

Лазло наклоняется к ней и вглядывается в лицо:

— Как ты?

— Пока еще здесь.

Лазло бредет к окну. Он тощий, в свитере с протертыми локтями, черные волосы подернуты сединой. Клаудия наблюдает за ним.

— Что я могу сделать для тебя? Что тебе нужно? Что тебе принести? Книги? Газеты? Я буду прихо-

дить каждый день.

— Нет, — немного резко отвечает Клаудия, — вполне достаточно, если ты будешь приходить время от времени. Расскажи мне о Франции.

— Франция… — Лазло пренебрежительно машет рукой. Франция была для Генри. Камины. Сплошь старые камины для глупых богатеньких дамочек, которые платят кучу денег.

— А Нью-Йорк?

— У меня там была выставка.

— Вот как. Много продал?

Дверь открывается.

— К вам гости! — кричит сиделка.

Клаудия поворачивает голову.

— Привет, Сильвия, — говорит она шепотом.

Ну уж нет-нет-нет, она не будет вступать в ненужные контакты — это теперь ее привилегия. Она закрывает глаза и предоставляет заниматься этим Сильвии и Лазло. Которые, как ни посмотри, всю жизнь прожили словно на разных планетах. Она слышит, как Сильвия говорит, что никогда не была без ума от Нью-Йорка, и как Лазло бормочет, что нет, он нечасто бывал в театре, и что да, там было довольно холодно.

Нам всем случается иногда играть роль случайного связующего звена. Так, я связываю Сильвию

и Лазло, Лайзу и Лазло. Гордон связал меня с Сильвией. Сильвия всегда спасалась от Лазло, говоря, что он трудный мальчик, а Клаудия к нему чересчур добра. Лазло в буйный период между двадцатью и тридцатью годами, бывало, частенько за глаза передразнивал Сильвию, безжалостно и точно. Гордон находил его занятным, но утомительным: у Лазло душа все время болталась, как рубашка на ветру, а Гордону это было чуждо. Он не имел ничего против того, что у людей есть душа, но считал, что она должна быть аккуратно заправлена и не топорщиться. Но на свой лад он его принял. Он оставил Лазло небольшое наследство.

Клаудия открывает глаза. Лайза снимает жакет и аккуратно вешает его на спинку стула. Клаудия внимательно смотрит на нее:

— Что-то сегодня все приходят. Лазло. Сильвия. Теперь ты.

— Нет, — говорит Лайза. — Это было два дня назад. Ты немножко путаешь. У тебя было ухудшение.

— Интересно, чем же я занималась два эти дня? — говорит Клаудия. — Они словно прошли мимо меня. Или забрали меня с собой.

— Ты выглядишь получше, — отвечает Лайза.

Клаудия поднимает руку и разглядывает тыльную сторону ладони:

— Я бы так не сказала. Я никогда не могла привыкнуть к этим коричневым пятнам. Честно говоря, они делают меня похожей на кого-то другого.

Лайза не любит говорить о переменах. Она спрашивает о Лазло.

— Лазло такой же, как всегда. Ты не можешь не признать, что в последовательности ему не откажешь.

Лайза вежливо кивает.

— Знаешь, я сожалею, — говорит Клаудия.

— Сожалеешь о чем? — осторожно спрашивает Лайза.

— Сожалею о том, что была неправильной матерью.

— О… — Лайза подыскивает ответ, — ну… я не знаю… не то чтобы неправильной… Ты была такая, какая ты есть.

— Мы все такие, какие есть, — отвечает Клаудия, — но это необходимо преодолевать. По общепринятым стандартам я в этом не преуспела. Поэтому я прошу прощения. Не то чтобы от этого есть какая-то польза… просто я хотела тебе это сказать.

— Спасибо, — наконец отвечает Лайза, сама не зная, что имеет в виду. Она бы предпочла, чтобы Клаудия не говорила того, что сказала. Теперь эти слова навсегда останутся с ней и только все усложнят.

Я никогда не думала, что увижу, как Лайза станет взрослой. В годы ее детства я была уверена, что вот-вот разразится ядерная война. Мир мог взлететь на воздух в любую минуту — в Корее, в Лаосе, на Кубе, во Вьетнаме, — и я ждала этого. Поэтому существование Лайзы наполняло меня ужасом. Возможная участь всего человечества для меня сосредоточилась в Лайзе, ее крошечных ручках и ножках, в ее невинных глазках, в ее простых желаниях. Возможно, я была неправильная мать, но все же я была мать, и при мысли о том, что Лайзе угрожает опасность, я испытывала страх и животную ярость. Я никогда бы не призналась в этих потаенных страхах. Для всех я была разумной и компетентной — я спорила о достоинствах и недостатках изолированности, я писала статьи, я участвовала в митингах и демонстрациях, если их цели меня устраивали. Но я навсегда запомнила тянущее ощущение тошноты и холода в желудке, которое испытывала в течение девяти дней Карибского кризиса, да и

не раз после этого. Бывали дни, когда я не могла заставить себя включить радио или раскрыть газету, словно незнание могло оградить меня от реальности.

Лайза выросла. Выросли ее сыновья. Время от времени я еще чувствую этот тянущий холод, но не так, как раньше. Я уже не отдергиваю руку от газеты. Почему бы это? Мир не стал безопаснее, чем был двадцать лет назад. Но мы все еще живы, чудовище все еще в клетке, и с каждым годом крепнет надежда, что, авось, там оно и останется. Нельзя жить в постоянном предчувствии гибели — это иссушает душу. Монахи Линдисфарна, должно быть, насвистывали во время работы, когда уставали смотреть на море; и в осажденных городах люди занимались любовью.

Мы ждали конца света, Библия приучила нас к этому. Мы ждали уничтожения и спасения — возможно, и того, и другого. Вера милленариев[120] стара, как мир, апокалипсис всегда был у нас под рукой. Люди тряслись в своих кроватях в ожидании тысячного года, съеживались при появлении кометы, падали на колени при затмениях. Наши сегодняшние страхи на первый

[120] Примечания: 120

Милленарии — приверженцы религиозно-мистического учения О предстоящем на земле «тысячелетнем Царстве Божьем».

взгляд более рациональны, но происхождение их перечеркнуть нельзя. Теория о том, что мир вечен, — недавняя, и, очевидно, слишком недавняя, чтобы иметь много последователей. Бытие мира — такая важная вещь, так соблазнительно думать, что рано или поздно оно изменится. В 1941 году в Иерусалиме я останавливалась в маленьком пансионе, который держали американцы, адвентисты седьмого дня. Эти пожилые люди в двадцатые годы продали все, что нажили, в Айове и Небраске и приехали на Святую землю, чтобы здесь дождаться второго пришествия, назначенного на 1933-й. Второе пришествие так и не состоялось, сбережения подошли к концу, адвентисты по-прежнему жили на Святой земле и сделали самое разумное, что могли, открыв маленькую гостиницу. Это было восхитительное местечко с тенистым двориком, в котором среди кустов розмарина и горшков с геранью прогуливались черепахи.

Многие годы мы с Гордоном спорили о разоружении — чаще, чем о чем-либо другом. Я была членом Движения за ядерное разоружение, а он — нет; его прагматизм излечивал мой пессимизм; он оперировал аргументами и цифрами, в то время как я размахивала эмоциями и уязвимыми

догмами. Теперь я могу это признать. В последний раз, когда мы были вместе — в лондонском такси, за два дня до его смерти, — он посмотрел на заголовки вечерней газеты, лежавшей у него на коленях, и сказал: «Неприятнее всего выпасть из сюжета. Хотел бы я знать развязку».

Кто-то, а Гордон знал о развязках немало. Время от времени он сам их придумывал. Вносить лепту в сюжеты — привилегия экономистов: крестьяне в Замбии, лавочники в Боготе, фабричные рабочие в Хаддерсфилде так или иначе испытали на себе результаты профессиональной деятельности Гордона.

За неделю до смерти Гордон давал показания Королевской комиссии по радиовещанию, зная, что итогового отчета уже не увидит. Мы с Сильвией привезли его туда в такси. Сильвия, с красными от слез глазами, облепленная обрывками мокрых носовых платков, пищала и кудахтала; Гордон, накачанный лекарствами, облепленный капельницами, нетерпеливо брюзжал. Доктора сказали: «Пусть едет, если хочет». Я согласилась. Он дал показания, с трудом забрался в другое такси и стал рассуждать о предстоящих выборах. Он явно провоцировал меня, и я приняла бой, зная, что не имею права поступить иначе. Мы поспорили.

Сильвия разрыдалась.

Она сидит напротив Гордона и Клаудии на откидном сиденье. Он не должен был ехать, эти глупые врачи ничего не понимают, они не должны сидеть в такси, с трудом продирающемся сквозь мрачный декабрьский Лондон. Из Гордона при каждом вдохе вырывается хрип, а к ноге прикреплены все эти трубки, на которые она не может смотреть без тошноты. И он все говорит, говорит, а ведь это вредно — так волновался из-за каких-то дурацких выборов, хотя кому сейчас есть дело до выборов? Ведь Гордон… К тому времени Гордон…

Уставившись в окно, Сильвия кусает губы.

Она будет храброй-храброй. Она не сломается. Когда это случится. Она будет храброй и разумной, устроит все, что надо устроить, сохранив спокойствие и достоинство.

И вслед за этим у нее появляются мысли, которых не должно быть, она это знает, но не может их отринуть… Мысли о том, что будет после того, как она продаст дом, ей ведь никогда по-настоящему не нравился северный Оксфорд, можно ведь подобрать что-то более сельское, не деревню, конечно, это слишком хлопотно, но какой-нибудь городок, где бывают ярмарки, где легко ладить с

людьми… и ей больше не нужно будет ездить в Штаты. Можно даже подрабатывать немного в каком-нибудь благотворительном магазинчике, просто чтобы чем-то заняться…

«Вздор! — говорит Клаудия. — Просто вздор!» И Сильвия выпадает из потока мыслей и оказывается в реальности. В реальности, где не на шутку спорят Гордон и Клаудия. Спорят, бранятся, как в прежние времена: но послушай, ты ведь не хочешь сказать, что… ты так говоришь только потому, что ничего не знаешь… дай мне закончить, не перебивай… ты просто неправа, Клаудия, вот и все.

Клаудия! Как она *может!* Спорить с ним, когда он так болен. Перебивать. Повышать голос. Как это на нее похоже. Как это гадко. Когда он… когда он *умирает.*

Слезы застилают глаза, вот-вот польются, она отворачивается к окну, торопливо ищет платок — и видит в оконном стекле, поверх витрин и тротуаров, свое лицо, круглое, розовое, *старое* лицо с опухшими глазами и щеками, испещренными сосудами.

«Вздор!» — говорит Клаудия, и это звучит резко, звучит так словно она хочет сказать именно это. Она встречается глазами с Гордоном и понимает,

что он возмущен, но ему хочется говорить, и они будут говорить, будут перебивать, но за всем этим оба услышат нечто другое.

Я люблю тебя. Всегда любила. Больше, чем любого другого человека, за одним только исключением. Значение этого слова чересчур широко, что только не называют любовью — любовь к детям, к друзьям, к Богу, плотскую любовь, и корыстолюбие, и святость. Мне нет нужды говорить тебе об этом, как и тебе нет нужды объяснять это мне. Я даже редко об этом задумывалась. Ты был моим alter ego, а я — твоим. А теперь я останусь одна, не понимая, что мне делать дальше.

Сильвия снова плачет. Плачет слишком громко. Если ты не перестанешь, думает Клаудия, я просто вытолкну тебя из такси.

Серые зимние сумерки подсвечены фарами и уличными фонарями — золотыми, красными, изумрудными, — и черные мокрые тротуары тускло мерцают, витрины светятся словно пещеры в вагнеровских постановках. Разговаривая, Гордон мимоходом отмечает все это. Он говорит о событиях, которые еще не произошли, и видит игру света и рельефа, калейдоскоп из фруктов в витрине зеленщика и капли дождя на щеке у девушки. Газетный киоск — портретную галерею

поп-звезд и членов королевской семьи. Автомобили ползут косяком сияющих рыб. Все это останется, думает он. Все это будет. Что я думаю об этом? Что я чувствую?

Он встречается глазами с Клаудией. Вздор, говорит она. Я всегда отдавала должное теории. Просто я предпочитала писать о действиях. Чокнутые авантюристы, отвечает Гордон. Тито. Наполеон. Это все не настоящая история. История это серость. Производство. Системы управления. Общественные настроения. Это все меняется очень медленно. Поэтому тебе и не терпится. Ты ищешь зрелищ. Там достаточно зрелища, парирует Клаудия. Да, конечно, Гордон морщится от боли, зрелища там достаточно. Но оно может быть обманчивым. Настоящее действие происходит где-то совсем в другом месте. Да ладно тебе, кричит Клаудия, ты можешь представить себе приговоренного к смерти, которому говорят, что настоящее действие происходит совсем в другом месте? И слушая ее тираду, он видит сотню ее лиц, уходящих вдаль: женщина, девушка, ребенок. Ты, думает он. Ты была всегда. А теперь тебя не будет.

Он чувствует, что Сильвия отвернулась, что у нее подергиваются плечи. Он протягивает руку

и накрывает ее ладонь. Это самое малое, что он может сделать. И самое большее.

Гордон умер пять лет назад. Теперь я — отдельно от него. Не проходит дня, чтобы я не подумала о нем, но мне удается делать это без эмоций. Его история завершилась; у нее были начало и конец. Время, когда мы были вместе, закончилось. Я больше не тоскую по нему, но мне пришлось отстраниться, иначе не получается. Мы вместе росли, мы любили себя друг в друге, мы зависели друг от друга. Временами мы друг друга на дух не переносили, но и в ненависти мы были едины, обособленны, мы были сообществом двоих. Я читала в душе Гордона так же безжалостно, как в собственной, — и с тем же великодушием. Мое чувство к Гордону приходится назвать любовью, за неимением лучшего определения: он был моим эталоном самой себя, моим зеркалом, моим критиком, судьей и союзником. Без него меня стало меньше.

Вначале была я; мое тело установило границы, физические и эмоциональные; были только «я» и «не я»: эгоизм младенца поистине великолепен. А когда я подросла, появилась Клаудия, которая была в центре всего, как и то, что принадлежало Клаудии. Ее глазами я наблюдала мир других лю-

дей, но не придавала ему значения. Мир, как учил Беркли, существует только в моем воображении, и когда перестает меня интересовать — более не существует. И вот в конце концов — или так мне только кажется — я выросла и обнаружила, что нахожусь в ужасном стечении времени и пространства, где встретились всё и ничто.

Она выплывает из хаоса, полного смутных и беспорядочных галлюцинаций. Возле нее сидит Лазло, неотрывно глядя на нее карими глазами.

— А… — говорит она, — опять ты. Сильвия, значит, ушла?

— Это было три дня назад, — отвечает Лазло, — ты перепутала, дорогая.

Клаудия вздыхает:

— Придется мне поверить тебе на слово. И не зови меня «дорогая», это неестественно, раньше ты так не говорил.

— Прости, — кротко говорит Лазло. — Ты чего-нибудь хочешь?

— Много чего. Но почти для всего уже слишком поздно.

— Ты не должна так говорить.

— Почему бы нет?

— Потому что… потому что это на тебя не похоже.

Клаудия смотрит на него.

— Я умираю, ты же знаешь.

— Нет! — кричит Лазло.

— Да. Так что не надо притворяться. Ты прямо как Лайза. Если я могу с этим смириться, значит, можешь и ты. Не сказать, конечно, что я ухожу так уж безмятежно.

— Что ты имеешь в виду? — осторожно интересуется Лазло.

— Ничего. Так, разные мысли. Но я не собираюсь нападать на докторов.

Она закрывает глаза, и наступает молчание. Лазло бродит по комнате, разглядывает цветы на столе: алую пуансеттию, мохнатые хризантемы, красные розы с неестественно-длинными, лишенными шипов стеблями.

— Красивые розы.

— Джаспер.

Лазло пренебрежительно поворачивается к розам спиной.

— Вот этого я никогда не мог понять. Ты ведь могла… могла выбрать любого мужчину, кого бы ни пожелала.

Он поднимает глаза к потолку и разводит руками, теряя свою напускную английскую сдержанность.

— Ты это уже говорил.

— Любого! Ты, которая была так красива… которая так красива, — поспешно поправляется он.

— Ну а я не слишком высокого мнения о себе, — говорит Клаудия. — Такова жизнь, не правда ли? Как бы то ни было, Джаспер был давно.

— Сколько мужчин просили тебя стать их женой?

— Немного. У большинства было слишком развито чувство самосохранения.

Лазло корчит рожу.

— Ты всегда вела себя так… так неприступно. Со мной ты никогда не была неприступной. Ты была просто чудесной.

— Спасибо, — Клаудия снова закрывает глаза

Лазло садится и смотрит на ее профиль, тонкий, заостренный нос, почти прозрачный в свете льющегося в окно послеполуденного солнца, в лучах которого цветы блистают оранжевым и красным. Внезапно она поворачивается к нему:

— Есть кое-что, о чем я хочу тебя попросить, если ты наведаешься еще.

— Обязательно.

— В моей квартире, — внятно говорит она, — в верхнем ящике письменного стола, коричневый конверт, перевязанный бечевкой. Адресован

мне. Довольно толстый. Мне бы хотелось еще раз просмотреть на то, что внутри, если ты его принесешь.

Нельзя сказать, что с Лазло в более поздние годы стало спокойно, — он либо нуждался в помощи, либо привносил в мою жизнь новый интерес. К тому же мы с ним любили друг друга. Я успокаивала его, выручала в трудные минуты, утешала; он развлекал меня и восхищался мной. Его темперамент, который многих обращал в бегство, меня не пугал, а скорее интриговал. Его несдержанность, от которой Сильвия и Лайза, поджав губы, замолкали, для меня был веянием другого мира, эхом буйной и не стесненной приличиями Восточной Европы — языков, на которых я не говорила, городов, в которых не бывала, святых, тиранов, дремучих лесов, вампиров, прошлого, в котором миф торжествовал над историей. В ту безумную пору, когда ему не исполнилось и тридцати, я нередко была праздным и заинтересованным зрителем, в то время как он сотрясал речами воздух квартиры в Фулхэме, оплакивал очередную любовь, ссору, предательство, муки творчества, нападки критиков, лицемерие владельцев галерей. Он всегда пребывал в восторге или в отчаянии, всегда приезжал с бутылкой

шампанского или для того, чтобы сказать мне, что думает о суициде. Я не могу не уважать такие проявления: они свидетельствуют о надлежащем почтении к жизни.

Зато Лайза считает его экспансивным и обременительным, несмотря на собственные корни (а может быть, именно поэтому). В юности, когда ей приходилось время от времени с ним общаться, как с человеком из моего круга, она держала себя максимально отчужденно и сдержанно. Выйдя замуж, она решительно дистанцировалась от него, встречаясь с ним, только когда это было неизбежно, на днях рождения, свадьбах, похоронах. Лазло был бы рад любить ее и быть любимым; он вел себя как дружелюбный щенок и убегал прочь в растерянности и горе — он так ничему и не научился.

— Желаю долгих лет жизни! — говорит Лайза. Она кладет на стол сверток и подставляет щеку для поцелуя, даже в эту минуту слегка отстраняясь от Клаудии.

Клаудия разворачивает сверток:

— Как раз то, что нужно. Спасибо.

— Надеюсь, цвет подойдет.

— Цвет в порядке. В конце концов, черное идет ко всему.

Обе рассматривают подходящую благоразумной пожилой женщине сумку.

Лайза садится:

— Я думала, будет Лазло.

Он придет с минуты на минуту. Я заказала столик в греческом ресторанчике.

Лайза оглядывает комнату, бесконечно знакомую, но в которой она никогда не чувствовала себя как дома. Это комната Клаудии, полная ее вещей, исполненная ее присутствия; в детстве Лайзе иногда казалось, что здесь можно задохнуться.

— Что это за огромные ящики в прихожей?

— Вино, — отвечает Клаудия.

— Вино?

— Подарок Лазло. Семьдесят бутылок — по одной за каждый год.

В душе Лайзы загорается возмущение.

— Но ведь ты же никогда…

— Все это не выпью? Надеюсь, что нет.

— Как это похоже на Лазло. — Щеки Лайзы пылают.

— Верно. Но жест элегантный, это нельзя не признать. А кроме того, это хорошее вино. Может, тебе стоит захватить бутылочку для Гарри?

— У него контракт о регулярных поставках с

Винным обществом.

— А… — говорит Клаудия, — тогда лучше не вмешиваться.

Звонят в дверь. Лайза сидит, напряженно вслушиваясь во взаимные приветствия и смех Клаудии и Лазло.

Вот он входит и с порога кричит:

— Лайза, дорогая, как я тебя давно не видел, какое милое платье… Ты выглядишь просто чудесно!

Он идет к ней, чтобы обнять, но она укрылась за длинным кофейным столиком, и ему приходится ограничиться воздушным поцелуем.

— Привет, Лазло. Как ты?

— Прекрасно. Но не будем говорить сегодня обо мне — мы празднуем семьдесятилетие нашей Клаудии! Это же колоссально! — Он протягивает руки к Клаудии, словно импресарио, открывший новую звезду.

— Да, — говорит Лайза, глядя в пол.

— Так что нас ждет чудный уютный вечер, — продолжает Лазло, — только мы трое. Превосходно. А какая прекрасная статья в воскресном номере, Генри мне показывал, ты видела, Лайза? Твоя мать так чудесно пишет о войне, о Египте, обо всем, о чем так мало рассказывает. Ты ведь

почти никогда не рассказываешь о том времени, Клаудия. И вдруг эта статья. Да еще с фотографией! Юная Клаудия, такая красивая, в грузовике посреди пустыни. Чудесно!

Лайза, которая тоже внимательно прочитала статью, смотрит на мать:

— Не видела у тебя этой фотографии.

— Случайно откопала в ящике. Подумала, что может пригодиться.

Лазло аккуратно складывает помятую газету.

— Я так гордился. Я ее всем показывал. Ты так давно ничего такого не писала.

— А почему вдруг? — спрашивает Лайза.

— Один редактор все никак не отвязывался. И я подумала — почему нет? Все люди моего поколения сейчас взялись превозносить свое прошлое, почему бы мне этим не заняться?

— Так что теперь ты нам все расскажешь, — весело продолжает Лазло. — За ужином. О самом интересном, о том, что не пишут для газеты. Обо всех офицерах, которые за тобой увивались, обо всех женихах. Обещай нам!

Лайза откашливается.

— Разве нам не пора в ресторан? — Она встает и берет свои вещи. — Ты получила еще какие-нибудь подарки, мать?

Мать. Так, на середине жизни, Лайза все-таки одержала эту маленькую победу. Клаудия чувствует легкий укол раздражения, но, в общем-то, это забавно. Лайза подчеркивает ее преклонный возраст. Что ж, если ей это доставляет удовольствие…

Нет, думает она по дороге в ресторан, я не расскажу тебе о своем подарке. Подарке, который я и представить себе не могла. Ни сейчас, ни потом, ни тебе, ни кому бы то ни было. «Хороший» — это, безусловно, не то слово, но какое слово подошло бы к нему — я не знаю, потому что до сих пор не могу опомниться, не могу думать о нем спокойно, не могу собраться с мыслями.

И чтобы оградить себя от шуток Лазло, чтобы опередить его вопросы, она говорит в полный голос, спрашивает, что тут можно заказать и кто что будет заказывать; будь я матриархом, мелькает у нее в голове, я бы с этой ролью справилась. И в это самое время кто-то внутри или вне ее, другая Клаудия, смотрит на нее с изумлением. И с сожалением. И с недоверием. Да правда ли это? Эта эксцентричная, властная старуха, эти руки со вздутыми венами, расправляющие салфетку, эти люди с нею за столиком — кто они?

На какое-то мгновение она становится кем-то

другим, но сразу же возвращается и видит, что Лазло смотрит на нее через стол и о чем-то ее спрашивает.

«Ну, так кто же сделал тот снимок? — спрашивает он. — Какой красавчик офицер? Кому ты так чудесно улыбаешься?»

Она и сейчас улыбается, в уютном сумраке ресторана неотличимая от юной девушки с фотографии, но он задает вопрос, и улыбка исчезает, она превращается в другую Клаудию, ту, которую он так хорошо знает, колкую и насмешливую, и отвечает «я не помню», потом поворачивается к Лайзе и спрашивает о внуках, об ужасных внуках, которые, к счастью, сейчас в школе и не смогли прийти, и о зануде Гарри, который тоже не пришел, возможно потому, что Клаудия его не приглашала, так что сегодня с ними только бедняжка Лайза, бледненькая, в строгом аккуратном платьице, вся напряженная, как всегда в присутствии матери. Лучше бы мы с Клаудией были вдвоем, думает Лазло, но ничего, Лайза ведь все-таки дочь, хотя один бог знает, как так вышло, никогда бы не подумал — такая мышка, тень Клаудии, ей, бедняжке, приходилось нелегко. И он вспоминает, со снисходительной симпатией, колючую пятнадцатилетнюю Лайзу, встрево-

женную усталую Лайзу с орущими младенцами на руках. Клаудию невозможно представить с орущим младенцем на руках, Лайзу воспитывали бабушки, дело, наверное, и в этом тоже, мудро заключает он.

И он думает, что всегда был немного влюблен в Клаудию, она всегда казалась ему умнее, и ярче, и интереснее всех остальных людей, всегда он говорил с ней о чем угодно, и всегда уходя от нее, он словно бы что-то утрачивал. Генри не любит Клаудию, он ревнует, а еще он ее боится. Многие люди боятся Клаудию. Но не я. Я не такой умный, как Клаудия, но никогда она не давила на меня, как иногда давила на других людей, она всегда слушала меня, даже если иной раз и смеялась. Бывало, что мы с ней ссорились, но всегда сразу мирились.

Лайза между тем говорит о Джаспере — с прохладцей. Она возила к нему сыновей, он дал им деньги на велосипеды. Богатенький щедрый Джаспер. При мысли о нем Лазло морщится: не стоило Клаудии связываться с таким человеком, как Джаспер, с пустым человеком, *дельцом*, не стоило тратить на него время. Роман, такой легкий краткий романчик, он бы понял, но долгие, многолетние отношения… и почему только

люди совершают такие ошибки? Но Клаудия не разбирается в мужчинах — для такой красивой, блестящей женщины это необычно. Перед мысленным взором Лазло проходит несколько мужчин, и, должно быть, на его лице отражается неодобрение, потому что Клаудия спрашивает, с чего он вдруг принял такой свирепый вид. «И вовсе не свирепый, — отвечает он, — просто подумал о некоторых людях».

За исключением брата, с которым они были так близки, Лазло думает о Гордоне, и выражение его лица снова меняется. Что-то странное было между ними, между Клаудией и Гордоном, словно они не просто брат и сестра; когда они встречались, то были отдельно от всех, и казалось, что сам ты находишься где-то в другом месте, не рядом с ними. Я всегда побаивался Гордона, признается сам себе Лазло, в его присутствии я всегда старался быть осторожным.

«Ну вот, а теперь у тебя виноватый вид, — говорит Клаудия. — Я-то думала, мы пришли сюда праздновать мои бездумно растранжиренные семь десятков. Развлекай меня, пожалуйста!»

16

— Кто-то принес и оставил, — говорит сиделка. — Вы спали, так что велели только сказать, что это от Лазло.

Когда дверь за ней закрывается, Клаудия развязывает бечевку, открывает конверт и достает старую школьную тетрадь, потрепанную, в пятнах. Она делает это медленно, руки ее слегка дрожат. Она смотрит на тетрадь, потом тянется к ночному столику за очками, а это тоже требует некоторого времени и усилий. Она надевает очки и раскрывает тетрадь.

В первый раз, когда я ее увидела — узнала почерк, — мне показалось, что меня ударило током. Я потеряла дар речи. Меня бросило в жар. Потом в холод. Я отложила тетрадь и прочитала письмо, короткое и внятное письмо его сестры: «Уважаемая мисс Хэмптон, я увидела вашу статью, где вы пишете о том времени, когда были военным корреспондентом в Западной пустыне, и поняла, что вы, наверное, и есть та К., к которой обращался мой брат, Том Сауверн, в своем дневнике. В своих письмах к нам он рассказывал о вас, но

никогда не упоминал вашего имени. Я подумала, что его дневник должен быть у вас, так что вот он. Искренне ваша, Дженнифер Сауверн».

После этого я прочитала дневник, как читаю его и сейчас.

Это светло-зеленая тетрадка, на обложке черным шрифтом набрано CAHIER.[121] Грубая зернистая линованная бумага. Он писал карандашом. Даты не проставлены, главы отделены одна от другой волнистыми линиями.

Написано бог знает где, в какой-то из дней 1942 года, за час до марша. Есть время перевести дух, вскипятить чайник. Механики ругают новые танки, два привезли прошлой ночью, это «гранты»,[122] их у нас раньше не было, половина снаряжения отсутствует, пушки еще все в масле. Это, правда, не моя головная боль, наш отряд вчера обошелся без потерь. Вчера, когда это произошло, я не смог записать, что мы делали, с кем встретились, кто что сказал, так что займусь этим сейчас. Может быть, для К. - то, что пытался объяснить ей в день, когда мы

---

[121] Примечания: 121

Тетрадь (фр.).

[122] Примечания: 122

Средний танк США времен Второй мировой войны, поставлялся союзникам — Великобритании и СССР — по ленд-лизу.

познакомились, и, кажется, не сумел.

Выступаем из лагеря до зари, в черноту; песчаная буря, воющая чернота забита песком и запахами, поблизости грохочет оставшаяся рота, непрекращающийся свист и треск в одном из наушников, воняет горючим. Серый свет сменяется розовым, потом оранжевым. На подъемах, когда все видно, заметны длинные спины «крусадеров»,[123] оседлавших горные кряжи, едущих со скоростью пятнадцать — двадцать миль в час, и кажется, что движется вся панорама, кажется, что нас больше, чем на самом деле. Пришли указания артиллерийско-технической службы, а потом часами продвигаемся вперед без указаний. Но часы это или минуты? Время, если вдуматься, утратило суть. Превратилась в циферблат наручных часов, указания командующего артиллерийской службы: «Доложите через пять минут ровно — выступаем в 5:00 ровно — огонь через три минуты ровно». Что было больше получаса назад, уже не помнишь. Только желудок еще сохранил чувство времени.

Страх. Хуже всего, когда он перед боем, а не во время. Страх страха. Того, что, когда время

---

[123] Примечания: 123

«Крусадер» («крестоносец») — одна из самых распространенных моделей британских танков во Второй мировой войне.

придет, ты ничего не сможешь или сделаешь какую-нибудь глупость. Во время боя это уже что-то другое. Страх придает решимости. Вчера видел, как у меня трясутся руки, просто опустил глаза, а они дрожат, вцепившись в край башни, как чужие. Но голова ясная, голос нормальный, ну или почти нормальный, я даю указания механику, даю указания водителю, докладываю местонахождение, докладываю о танках в семи тысячах ярдах, документирую, оцениваю, рассчитываю, и все это словно бы не я. Только руки выдают. Грохнул ими об люк, чтобы держать под контролем, а броня горячая, обжег так, что весь день потом бесился.

Вот и закат. Встали лагерем, хотя бы поспим в эту ночь, в прошлую совсем не удалось, все занимаются ремонтом, обстрел сплошным потоком, взрывы в течение нескольких минут, вади по соседству забита вражеской амуницией. Лежишь, смотришь на звезды и думаешь. Нет, не думаешь. Выхватываешь какие-то образы и смотришь на них. Другие места. Другие люди. К. Всегда К.

Где-то неделя прошла, я думаю. Ни разу не удавалось ничего записать — или терялся в этой мясорубке, или так уставал, что отключался

до следующею марша. Даже если бы это было необходимо, я сейчас не смог бы определить, что происходило раньше, что позже, в памяти, и нет никакой последовательности. одно сплошное течение без начала, без конца, без смысла, только с отдельными вспышками, такими яркими, что до сих пор гул в голове. Посмотрел вниз, вижу, ранен мой заряжающий, кровь льется из раны на шее, а он даже не замечает, заряжает, кричит что-то, пришлось до него дотронуться, чтобы он очнулся. Пыль в башне такая, что мы лиц друг друга не видим. Карту видно, только если поднести прямо к глазам. Желудок провалился, а когда один танк из нашего отряда застопорился, полыхнуло сначала оранжевым, потом жирный черный дым повалил, мы смотрели, не выберется ли кто, и ни один не показался, ни один. Потом снова затошнило, когда брошенная вроде бы полевая пушка вдруг ожила и начала палить. А вслед за этим — радость, когда враг начал отступление, а мы должны его преследовать, *сидим в башне, щуримся в полевые бинокли, ищем хвост пыли на горизонте — и ничего не чувствуешь, кроме азарта погони, страха нет, и усталость смертная прошла, только инстинкт, как у охотничьей собаки. Потом и стыдно стало, и страшно.*

Похоронили экипаж «крусадера» из эскадрона С. У них во время атаки отказал мотор, а потом мы их нашли, танк подбит и сгорел, все погибли, механик и командир до сих пор внутри, мы это кровавое месиво, усаженное мухами, по кускам вытаскивали. Стрелок и водитель лежат рядом на песке, подстрелили, когда пытались выбраться, и ран-то почти не видно, просто лежат окоченевшие на песке, и тяжелое молчание вокруг.

После боя в голове еще долго гудит, гул этот вызывает реакцию совершенно автоматическую, не думаешь, что это, не можешь думать, просто видишь орудия и винтовки, ждешь обстрела, оцениваешь прицел и дальность. И все время голоса, повсюду голоса ребят из роты, точно мы бредем по пустыне, как измученные духи, и перебрасываемся репликами на здешнем безумном жаргоне: «Привет, Рыбка-один, Ровер зовет… ладно, сейчас… все позиции, Рыбка… двигаемся на десять градусов… ну, давай же… ты можешь это уточнить…» — а иногда интонации меняются, голоса приходят в исступление, вой, крики, и все это в тесной черепной коробке. «Рыбка-три, где ты, черт бы тебя побрал… испарился, чтоб его, когда нужен… Рыбка-три, где ты, твою мать?..

Эй, Ровер, меня подбили, повторяю, подбили, я отхожу». Кажется, что существуешь в нескольких измерениях: вот вид — предательски ровная пустыня, огонь, дым, трассирующий обстрел, сигнальные ракеты, машины ползают туда-сюда, как муравьи; а вот звук — он отовсюду, сверху, снизу, со всех сторон, изнутри, воют самолеты, взрывы, очереди, скрежет и голоса — не оттуда, куда смотришь, а словно существующие отдельно, словно голос диктора, словно призрачный хор.

Только что видел газель. Обычно мы их подстреливаем, так здорово бывает забыть о консервах, но я не смог себя заставить. Она меня не видела, стояла, помахивая хвостиком, ушки настороже, с песком они почти сливаются. но четко выделяются на фоне чахлого кустарника и камня, такой всполох жизни среди мертвечины ржавых канистр, колючей проволоки, сожженных грузовиков. А потом она меня учуяла и убежала.

Спал после боя. Словно свалился в выгоревшую яму или нарезал круги чуть ниже уровня сознания, сны были совершенно дикие, сюрреалистические, с такими сюжетами, что и не расскажешь. Если вдумаешься, адекватное отображение того абсурда, в который мы погрузились по уши, когда кажется, что и нет ничего на свете, кроме песка

и взрывов, и, следовательно, этот исковерканный мир и есть настоящая реальность.

Временами, когда останавливаешься, тебя осаждают образы, и так и остаются в голове… Мой башенный стрелок присел на корточки и поджаривает какие-то кусочки мяса или колбасы, очень сосредоточенно, а вокруг горизонт рвется, дым валит. «Готово, сэр, попробуйте-ка..». Крепкий, жилистый парнишка, с характерным для центральных графств выговором, до войны был строителем. Марево такое, что не поймешь, что это за техника на гребне. Танки или грузовики? Наши или вражеские? Контуры машин расплываются, они за пределами досягаемости, а я в башне, вцепился в бинокль, даже отметины на руках остались. Итальянцы выбираются с огневой позиции, пехотинец из австралийцев, с приклеившейся к губам сигареткой, погоняет их словно стадо, покрикивает, сине-зеленые их мундиры на фоне хаки кажутся вражескими, нездешними, неуместными… И вот теперь я снова вижу эту картинку и думаю, как умышленно и просто война делит всех на своих и чужих, наше и не наше, хорошее и плохое, черное и белое, и никаких тебе сомнений и неопределенности.

Кроме пустыни, конечно. Пустыня ничья. Не на

нашей стороне, не на чужой, просто сама по себе. У нее свои дела, свои циклы, жара и холод, солнце и ветер, дни, месяцы, годы, у нее чертова прорва времени. Не то что у нас.

Еще образы. Католический священник устанавливает алтарь для воскресной мессы в глубине десятитонного грузовика, борта откинуты, люди стоят полукругом, нестройное просительное пение и молитвы, мимо движется бронированная военная техника. Господь, говорит падре, безусловно, на нашей стороне.

Заглянул в одиночный окоп, там внизу какие-то лохмотья. А потом гляжу — это не лохмотья, а тело, руки-ноги скрючены, голова запрокинута, глаза открыты, и пыль в них набилась, и снова такое чувство, будто мертвые не просто так молчат, будто они знают то, чего не знаешь ты. Зашел по нужде за какой-то уступ, столкнулись нос к носу со змейкой, маленькая, свернулась и не движется, не отличишь от камня, только язычок мелькает, глазки-бусинки, по спине яркий узор зигзагом. Эти две сцены были не друг за другом, но сейчас явились почему-то вместе и друг друга дополняют, будто рассказывают о могуществе жизни и о цене жизни, о том, что смерть — это конец всему.

Атака с воздуха на вражеские противотанковые орудия, которые окопались на выходе из долины, задержала нас на несколько часов. Сначала голос командующего в наушниках сказал: «Ну, наконец-то, подмога с воздуха», и тут бомбы посыпались как белые кегли. А перед этим — или после, я не помню — был жуткий момент, когда то, что я считал скальными обломками всего в паре сотен ярдов впереди нас, вдруг превратилось в цепочку замаскированных «Марков», и у меня несколько секунд, чтобы решить, отходить нам к чертовой матери в укрытие или спрятаться за ближайшим кряжем и открыть огонь, видят они меня или еще нет и сколько мы сможем продержаться, пока не придет помощь. И тут за меня все решили, открыли огонь с воздуха, благодарение богу, стали рваться первые снаряды, я доложил командующему позицию, заорал стрелку, чтобы открывал огонь, и все это, кажется, в одно и то же время, едва удалось изгнать из голоса паническую дрожь.

В нескольких десятках ярдах от меня кто-то подорвался на противопехотной мине. Пустыня содрогнулась, я оглох на полчаса, и осколком царапнуло ногу. У каждого есть история чудесного спасения, подозреваю, что это моя, вот только

чуда никакого нет, одна слепая случайность. Но со случайностью дела иметь никто не хочет, все предпочитают играть словами и говорят о чуде.

Ночи. Грохочущая полная огней тьма набита самолетами, зенитками, разрывами, оранжевыми всполохами, серебряными шлейфами взлетающих снарядов, огромными пылающими горнами — вагнеровская «Гибель богов», над которой ночь за ночью правят все те же вечные мерцающие Плеяды, Орион, Сириус, Медведицы. В периоды затишья мы встаем на бивуак (странный термин, из других войн, из других мест) — легкая техника в кольце бронированной, — переводим дух, проверяем припасы, получаем приказы на завтра и время от времени спим.

Прошло две недели. По целым дням ничего не делаем, воинственный угар сменился скукой и апатией — такая уж непредсказуемая война. Поползли слухи, что наступаем, потом, что отступаем, потом, что скоро дадут увольнительную, потом, что еще несколько месяцев не дадут. И вот мы торчим здесь разбросанным неуютным становищем из военной техники, палаток и окопов. Громоздятся трущобы из канистр. Ребята разбили площадку для крикета. Подвезли провиант. Потихоньку латаем обмун-

дирование, снаряжение, самих себя. Листаем разодранные журналы. Пишем письма. Я пишу вот это.

Пишу для того, кому это может быть интересно. Надеюсь, что для К. Или, может быть, для себя самого в будущем, которое сейчас кажется попросту нереальным. Мы все говорим о том, что «будет после войны», но это звучит почти как заклинание, тут же прибавляется «чтоб не сглазить». Думаем об этом, мечтаем, строим планы, как в детстве грезили о том, что будет, когда мы вырастем. Вот и я говорю себе: когда я вырасту и окажусь в нереальном месте, где не будет танков, орудий, противопехотных мин, бомб, где песок только на пляжах, а солнцу все только радуются, когда я смогу сам решать, в какие мне игры играть, тогда… что тогда? Нереально. Представляешь себе рай без изъяна, с зеленой травой, счастливыми детьми, полный такой гармонии и справедливости, каких никогда не было и не будет. Прогоняешь видение и представляешь что-нибудь более приземленное: горячую пищу, чистые простыни, воду и секс. Все это мы каких-то три года назад принимали как само собой разумеющееся — а сейчас наполняем прямо-таки сакральным значением. Иногда ка-

жется, что за это мы и сражаемся.

«Расскажи мне какую-нибудь историю», — попросила К. в Луксоре. Я никогда не рассказывал ей другую историю, ту, в которой она блистала, в которой была героиней, — романтическую историю, полную банальностей, где я говорю ей все то, для чего вечно не хватало времени, и мы делаем все то, для чего опять же не хватало времени, и вся эта чертова заваруха осталась в прошлом, а мы с тех пор живем долго и счастливо до скончания века, аминь. Хорош я, ничего не скажешь! Хотя, наверное, это я ей сейчас и рассказываю, и если так, то она, наверное, поймет меня, поймет, откуда в войну эта блажь и нехватка здравого смысла, если не считать, что здравый смысл все-таки нужен для того, чтобы делать то, что необходимо сделать, и чтобы говорить другим людям, что должны делать они, и чтобы двигать эту железную махину и убивать людей, которые иначе убьют тебя.

А может быть, когда-нибудь мы все это поймем с ней вместе.

Хочу описать вчерашний день, от которого тошно до сих пор.

Опять до зари пришел приказ наступать — в двадцати милях к востоку обнаружено большое

скопление вражеских танков. В полночь было совещание у командующего, я воспрянул духом и даже обрадовался, что надо будет что-то делать после того, как несколько дней сидели сиднем. Отправился назад к танку — ночь сверкает звездами, тишина, люди снуют туда-сюда как тени на бледном песке, чернеют горбатые силуэты машин. Устроился поспать часок-другой, и вдруг нахлынуло такое, чего прежде никогда не было, — захватило внезапное парализующее осознание, где я и что творится вокруг, и что я могу умереть, и такое это было дикое чувство, что я лежал в оцепенении, а рассудок стонал и выл от страха. Да, от страха, но не только — еще от какого-то примитивного, атавистического инстинкта: спасайся, беги. Я велел себе заткнуться, внушал сам себе, что владею ситуацией. Пытался глубоко дышать, считать до ста, повторял завтрашние коды. Ничего не помогало. В голове было только, что вот-вот настанет утро, а я здесь, связан, и бежать мне некуда, и ужас такой, какого прежде никогда не испытывал, и непонятно, откуда он. Тогда я попробовал по-другому. Сказал себе, что на самом деле я не здесь. Что я только проездом в этих местах, так надо, по-другому нельзя, но скоро я уеду, и это бу-

дет уже совсем другая история. Вспомнил газель, которую видел, она так беззаботно помахивала хвостиком среди груд проржавевшего металла, что я ей на мгновение позавидовал; но у газели нет истории, в этом вся разница. А у меня, пусть я и связан, и поджилки трясутся, есть история, и поэтому я человек, а не газель.

Скорчившись в спальнике на холодном песке, я заставлял себя думать о прошлом и о будущем. О других местах, о детстве, о том, как я лазал по горам в Уэльсе, как ездил в Нью-Йорк, как был счастлив, потом несчастлив, как много лет назад был на побережье в Корнуолле, как месяц назад был в Луксоре, в постели с К. Будущее утопало во тьме, но тьма была подсвечена мечтами, а мечты — второе имя надежды. Я заставлял себя мечтать, я гнал от себя ночь, пустыню и черные силуэты, сошедшиеся вокруг меня, я прорывался сквозь утро, сквозь завтра, сквозь всю следующую неделю, и мечтал, мечтал. О зеленых полях. О больших городах. Я мечтал о К. И наконец оцепенение разжало хватку, я даже заснул. Меня разбудил водитель. Пять утра. Напряжение не спало, но паника прошла.

А потом мы шли вперед, все утро, дозорные докладывали вражескую диспозицию и координа-

ты, потом связь пропала, и мы просто колесили, разыскивая их, но противник как сквозь землю провалился, или, скорее, его там никогда и не было. Потом в наушниках у меня зазвучали радостные вопли: противник снова обнаружен, в 7000 ярдах отсюда. Я обрадовался, что паники по-прежнему нет, действую правильно и почти спокоен. Отключился, чтобы поговорить с экипажем. У нас был новый стрелок, Дженнингс. Он новичок, это его первый бой, а я об этом узнал только накануне. Коренастый парень из Эйлсбери, лет двадцати, не больше. Познакомиться с ним по-настоящему мы не успели, он мне показался довольно толковым, разве что немного молчаливым, но мы все были заняты последними сборами и проверками, до него никому особого дела не было. А теперь я понял, что с ним что-то не то, — сначала от него было не допроситься ответа, потом он забормотал какую-то невнятицу, понять ничего нельзя. Я спросил: «Дженнингс, с тобой все в порядке?», но тут прорезался штаб, и следующие минут пятнадцать в наушниках был хаос: приказы, отмена приказов. Наша рота B, как нам сказали, должна была сразиться с германскими «марками», велено было следовать на подмогу, потом передали, что есть еще одна

группа, которую ребята не заметили, и чтобы мы направлялись туда. Я велел Дженнингсу пристреляться на дальность и приготовиться вести огонь, но он только стонал и хлюпал, как животное, которому больно, а потом завел скороговоркой: «Пустите меня отсюда, пустите меня отсюда, пустите...» Я пытался поговорить с ним спокойно, без крика, говорил, чтобы он взял себя в руки и просто делал то, чему его учили. Но сейчас я уже видел вражеские танки, шедшие на полном ходу, рядом с нами разрывались снаряды, спустя несколько секунд подорвался танк моего сержанта. Так не могло продолжаться, мы превратились в легкую мишень, и оба наших уцелевших танка отступили в полузакрытую позицию, в ложбинку. Я попытался еще разубедить Дженнингса взять себя в руки, но безуспешно. Он только стонал и выл, и явно ничего не соображал, паршивец.

Один Бог знает, как нас не подбили. «Марки» стреляли по нам, а я ничего не мог поделать, разве что вышвырнуть Дженнингса из танка и самому вести огонь. Но тут командующий сказал, что они идут к нам на выручку и чтобы мы отошли, пока не подойдут наши ребята с востока. Мы отступили; немцы сначала погнались

за нами, но потом повернули, и я доложил, что у меня стрелок не в порядке, пусть пришлют санитаров, а командующий рявкнул: «Вы что же вытворяете, вас разве не подбили?»

Я вытащил Дженнингса из танка. Ребята смущенно отмалчивались, не хотели об этом говорить, закурили. Дженнингс сидел, положив голову и руки на колени. Его вырвало, на мундире желтели пятна блевотины. Я пытался с ним поговорить: мол, волноваться не надо, все будет в порядке и прочее, — но он, наверное, ни слова не уловил. Один раз посмотрел на меня, и глаза у него были, как у ребенка, который только что увидел самый страшный кошмар, зрачки — как черные колодцы на белом лице. Тогда я его оставил, и мы с ребятами ждали и нервничали; приехал санитарный грузовик, врач выскочил, только раз взглянул на Дженнингса и сказал: ну все, парень, пошли. И как только они уехали, мы стали шутить, лихорадочно плели небылицы — мне такое приходилось видеть, когда люди были на волосок от гибели, и сам я чувствовал себя так, будто стряхнул с себя что-то липкое и гадкое, хотел поскорее забыть его лицо и голос.

Наша рота в тот день потеряла три танка. Экипажу одного из них удалось спастись, и

стрелок перешел к нам. На следующий день был настоящий ад, бои шли с утра до вечера. Под конец я уже отдавал команды как автомат, не думая, почти не соображая, но, когда мы встали на бивуак, нам сообщили вражеские потери, и оказалось, что мы потеснили их с позиций; это известие было принято с восторгом, мы все на радостях поздравляли друг друга, прониклись чувством локтя и доверием друг к другу. Про Дженнингса никто не вспоминал, только командующий сказал немного смущенно: «Парень-то ваш не выдержал, зрелище, наверное, было не из приятных». И я вспомнил, что на Сомме за трусость расстреливали. Сейчас это называется «зрелище не из приятных», что знаменует прогресс гуманности.

Я записал это все — о Дженнингсе и собственной дуэли между материей и сознанием, — потому что надеюсь когда-нибудь подумать об этом как следует. Тут пока что все записано начерно, без обработки, как было. Когда-нибудь я попробую вычленить из этого смысл — если, конечно, таковой имеется. Когда мы познакомились с К., она спросила, каково здесь. Мне тогда было трудно объяснить. Вот, наверное, примерно так. Так что, может быть, этот дневник — для нее. Может

быть, когда-нибудь она поможет мне извлечь смысл. В конце концов, она ведь собирается писать книги по истории, так что это по ее части.

Такая выдалась неделя. История продолжается, и я все еще в ней. Снова ничего не происходит, сидим, ждем подвоза продовольствия и боеприпасов — ходят слухи, что вот-вот начнется наступление. А пока можно подумать в двух измерениях. Одно — здесь и сейчас, танки, люди, снаряжение, командование, что сказал тот человек, что сделал другой, как однополчанин ест, широко разевая рот (и как среди всего происходящего еще умудряешься раздражаться на чье-то неумение вести себя за столом — один бог знает). А другое измерение — оно так мало связано с первым, будто мысли принадлежат разным людям: я думаю о том, что когда-то мне хватало нахальства верить, будто я могу управлять своей жизнью, и как в ответ она показала мне клыки. Я думаю обо всем, что не сделал и что еще надеюсь сделать. Я думаю о К., которая присутствует почти во всех моих мыслях. Я читаю потрепанный томик «Домби и сына», скорчившись в тени танка на бивуаке, осаждаемый мухами, и я уже не здесь, я исчезаю: это чудо слов и сюжета словно анестезия. Чтобы развлечься, я занимаюсь

детскими пустяками: перебираю про себя имена греческих богов, названия английских дикорастущих цветов, фамилии американских президентов и французских прозаиков.

Тот же день, после полудня. У моего танка испортился масляный затвор. Мне сказали заменить его в полевой мастерской. Долгожданная поломка.

На этом дневник обрывается. Под последней главой выцветшими чернилами рукой Дженнифер Сауверн написано: «Мой брат был убит, выполняя это поручение, во время воздушного налета».

17

Ну, вот мы и подумали об этом вместе, и в самом деле спустя много лет. У нас с тобой уже разная история, и, читая то, что ты написал, я думаю о том, чего ты не знаешь. Ты остался в другом времени, в другом месте, а я уже не та К., о которой ты думал, не та, которую ты знал, я совсем другая, невообразимая Клаудия, от которой, возможно, ты бы отшатнулся. Я чужая, живущая в мире, который ты не увидел. О, как мне тяжело думать об этом.

Я в два раза старше того тебя. Ты молод — я стара. Ты недостижим под хрустальной толщей времени, ты не знаешь ничего о сорока годах истории, о сорока годах моей жизни, ты кажешься наивным, как человек из другой эпохи. Но при этом ты часть меня, так же тесно и нерасторжимо связан со мной, как все мои «я», все Клаудии, из которых я состою; я говорю с тобой почти так же, как говорила бы с собой.

Смерть — конец всему, говоришь ты. И да и нет. Ты существуешь, пока ты в моих мыслях. Это, конечно, не то, что ты имел в виду, ты говорил

о возможностях плоти. Но это все же правда: я сохраняю тебя, как другие сохранят меня. Хотя бы на время.

Ты просил меня помочь найти смысл. Я не могу. Твой голос громче, чем история, которую я знаю, — или думаю, что знаю. Мне известно, что случилось потом; я знаю, что Роммеля выбили из Африки и что мы победили. Я знаю все, что последовало за тем. Бесстрастная логика объясняет — или призвана объяснить, — почему началась война, как протекала, какое влияние оказала. Твой живой, начерно записанный опыт никак со всем этим не соотносится. Он просто в другом измерении. Я не могу анализировать его, не могу разъединить, сделать выводы, привести аргументы. Ты говоришь о газелях и мертвых, об орудиях и звездах, об испуганном мальчишке. Это все понятнее мне, чем любая хроника, но постигнуть, какой во всем этом смысл, я не могу — быть может, потому, что его нет. Наверное, это было бы легче сделать, если бы я верила в Бога, но я не верю. Все, о чем я могу думать, слыша твой голос, это что прошлое — было, и это сознание наполняет меня одновременно ужасом и восторгом. Мне нужно мое прошлое, мне нужны ты, и Гордон, и Джаспер, и Лайза — все они. Я могу

объяснить это только своей экспансивностью: вот моя история и вот история мира. Потому что если я не часть всего — я ничто.

Начинаются сумерки. Клаудия лежит с закрытыми глазами, она громко дышит, эти нерегулярные хриплые звуки делают ее кровать смысловым центром комнаты, хотя там нет никого, кроме Клаудии, чтобы это понять. Она чувствует это сама, то выплывая, то погружаясь в беспокойное море, до краев наполненное гулом ее собственного существования. Вот она всплывает на поверхность, открывает глаза и видит, что идет дождь. Небо потемнело, и с ним комната; оконное стекло испещрено мелкой водяной дробью, капли катятся, словно разматываются прозрачные ленточки, мир искажается — и ветви ближайшего дерева, и крыши, и другие, дальние деревья. А потом дождь кончается. Комнату заливает свет, на перекрещенных голых веточках за окном виснут капли, солнце входит в них, и они вспыхивают голубым, желтым, зеленым, розовым. Ветви такие черные на фоне золотого пламенного неба, черные и блестящие. Клаудия глядит на них внимательно и пристально, словно это представление дается для нее, и душа ее наполняется восхищением и радостью, здоровьем

и благоговением.

Солнце садится, сверкающее дерево гаснет. В комнате снова темно, теперь уже по-настоящему. В лиловом квадрате окна чернеет узор ветвей, загорается свет в домах напротив. Что-то изменилось и в самой комнате. В ней никого нет. Пустота. Неподвижность, какая бывает там, где есть только металл, стекло, древесина, пластик. Где нет жизни. Что-то легонько треснуло, непроизвольно растянулось или сжалось. За окном тронулась с места машина. В небе летит самолет. Мир не стоит на месте. На столике возле кровати включается радио, и диктор читает шестичасовые новости.